

ЭДУАРД КОЧЕРТИН  
КРЕЩЁНЫЕ  
КРЕСТАМИ

© Э. С. Кочергин, 2009

© ООО «Вита Нова», оформление, 2009



Эдуард  
КОЧЕРГИН

# КРЕЩЁННЫЕ КРЕСТАМИ

*записки на коленках*

ВИТА НОВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
2009

ISBN 978-5-93898-263-5

Чтобы читатель не мучился вопросами о названии и подзаголовке моего повествования, объясню поначалу второе название, то есть подзаголовок.

Во-первых, все события записывались по случаю, на коленках, в малые блокноты, в любых местах, где заставала жизнь и где возникало время редкой незанятости по основной рисовальной работе.

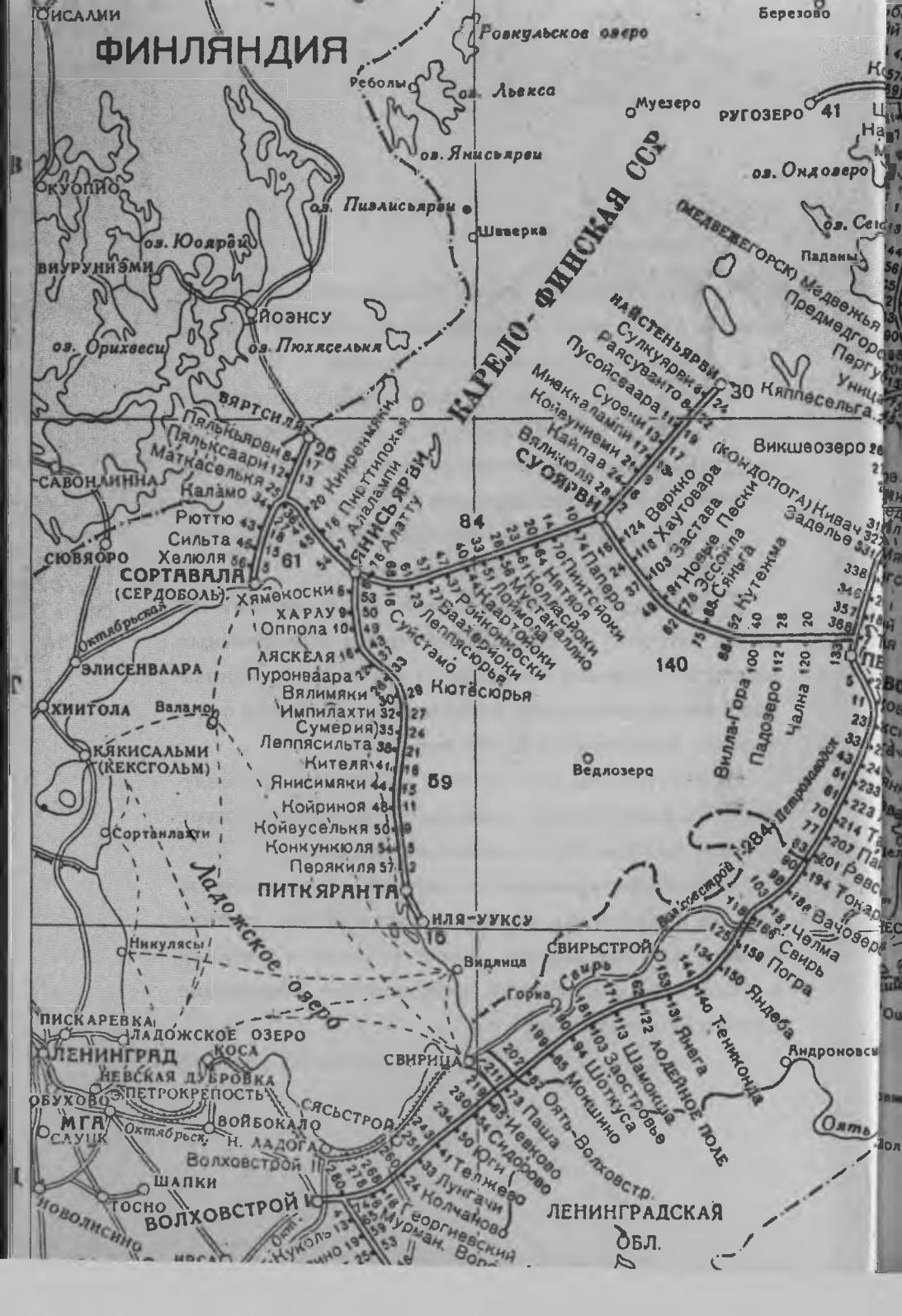
Во-вторых, это записки про времена, когда вся страна была поставлена системой на колени.

В-третьих, это фрагментарные воспоминания пацанка, которому досталось прожить под победоносные марши в бушующей совдепии со всеми её страшноватыми фиглями-миглями, как и множеству других подопытных, немалое количество лет.

Но вместе с тем, это — просто записки, не претендующие на философские, социальные или какие другие высокие выводы. Это — записки на коленках.

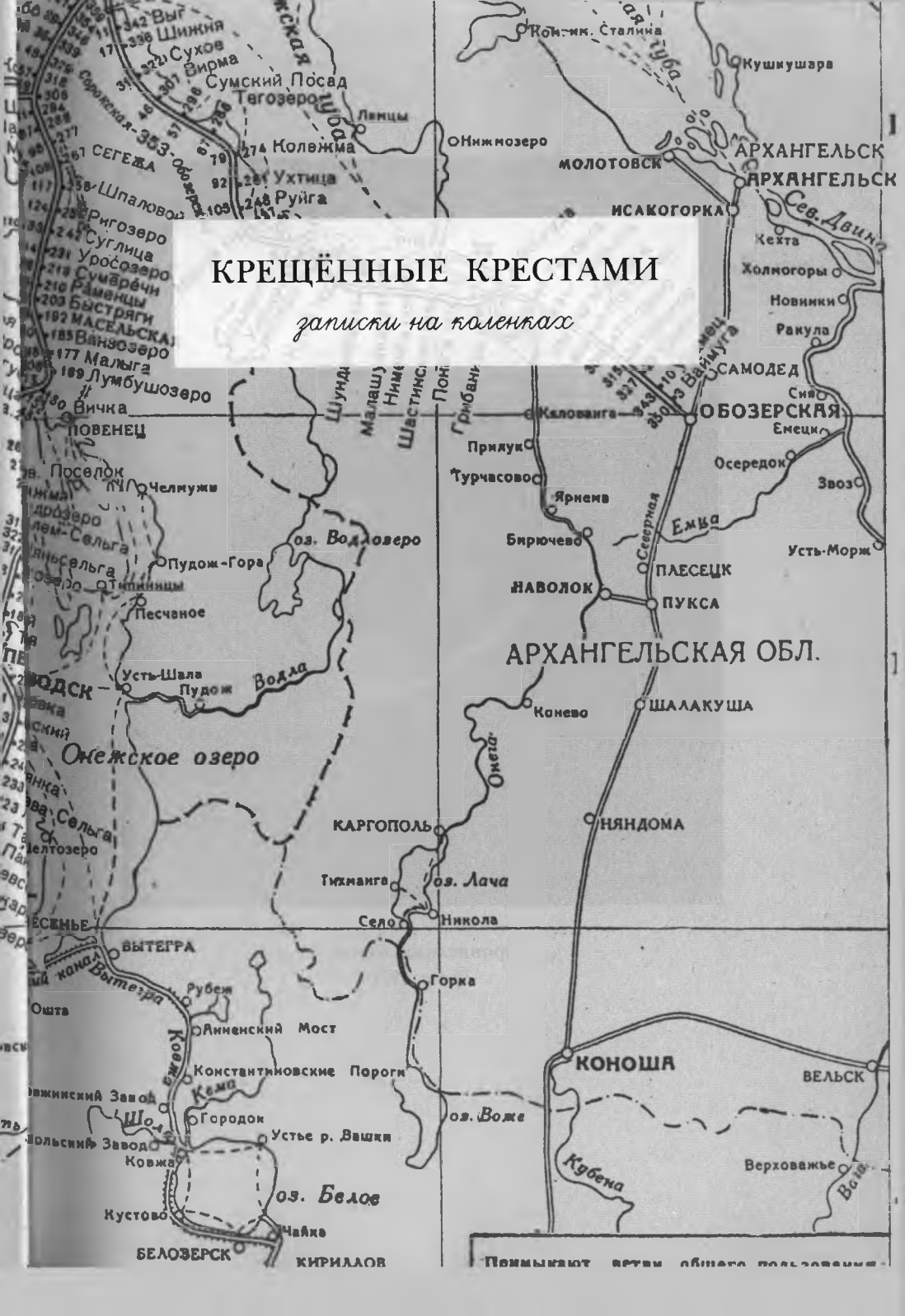
«Крещённые крестами» — старинное выражение сидельцев знаменитых русских тюрем-крестов, некогда бывшее паролем воров в законе, в соседи к которым в сталинские годы сажали политических. Выражение ёмкое и неоднозначное.

# ФИНЛЯДИЯ



# КРЕЩЁННЫЕ КРЕСТАМИ

*записки на коленках*



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.

Продолжение записки о жизни в Архангельске



Бронислава Одынец  
*Чита, 1921*



*Памяти матки Брони,  
Брониславы Одынец*

## О МАТКА БРОНЯ, ВОЗЬМИ МЕНЯ В ШПИОНЫ

Первое осознанное воспоминание в моей жизни связано с потолком. Может быть, я часто болел или ещё что другое...

Родился я с испугу: отца Степана арестовали за кибернетику, и мать выкинула меня на два месяца раньше.

Мне нравилось лежать в кровати и путешествовать, глядя на тройной фигурный карниз, который украшал высокий потолок в моей комнате. Я мог часами рассматривать фантастические изгибы его странных стеблей и листьев, мысленно путешествовать по извилистым пустотам между ними, как по лабиринту, и в случае ненастья за окном укрываться под самыми крупными из них. А в светлые моменты, и особенно при солнце, я с удовольствием переплывал по глади потолка в его центр, на такую же пышную барочную розетку, и по старой люстре с тремя ангелочками, каждый из которых держал по три подсвечника с лампами, спускался, усталый, к себе на кровать.

Второе воспоминание связано с крещением и костёлом на Невском. В нём участвуют уже мои ощущения. То есть я не понимаю, что происходит, но поглощаю происходящее. Дяденька-ксендз что-то со мною делает, мальчики в белом размахивают и дымят блестящими металлическими игрушками, похожими на ёлочные. Много белого, очень много белого — одежд, цветов, света. Запах дыма незнакомый и далёкий, и мне кажется, что все несколько торопятся, и в этом есть что-то неестественно тревожное. Я, обыкновенно очень улыбчивый, даже подозрительно улыбчивый для своей матки Брони, — не улыбаюсь.

Да, ещё вспомнил о ступенях, ведущих в костёл. Это было моё первое испытание в жизни (арест отца я ведь не помню). Меня почему-то заставили преодолевать их самого — с огромнейшим трудом, всеми способами: ногами, на коленках, с помощью рук, перекатами... Видать, в ту пору я был совсем мал.

Это первый в моей жизни светский выход, мой первый в жизни театр, мой первый в жизни свет, первая музыка и первая, ещё неосознанная любовь. Если бы этого не было в памяти, наверное, судьба моя стала бы иной.

Шёл уже 1939 год, когда я наконец заговорил. Заговорил поздней осенью и только по-польски. Ведь матка Броня у меня была полька, а русский отец

сидел в Большом доме. До этого я только улыбался, когда со мной пробовали заговаривать, да и вообще улыбался больше, чем было нужно. Сижу, обмазанный всем, чем можно, и улыбаюсь... А тут вдруг заговорил сразу и много. Матка Броня, конечно, обрадовалась и даже устроила польский обед: с чечевицей, морковкой и – гостями.

На следующее утро за нею пришли. Сначала вошла в коридор дворничиха Фаина, татарка, следом вежливый военный с папкой, а за ним ещё кто-то. Вежливый военный стал спрашивать её фамилию, имя, несколько раз спросил, полька ли она, а остальные стали рыться в вещах, столах, кроватях. Я попытался им сказать, что клопов у нас нет, но картаво и по-польски. Матка попросила Фаину позвать Янека с первого этажа, чтобы он меня забрал к себе. Когда Янек пришёл, Броня благословила меня Маткой Боской и поцеловала. Феля, старший брат, всё время сидел у окна на стуле и молча раскачивался. Он уже был странным к тому времени.

Фаина, татарка, пожалела меня, недоноска, и отдала полякам с первого этажа «на хранение». Вскоре она же привела и Фелю, очень расстроенного: его не взяли в Большой дом, сказав, что для шпионов мы ещё малы, но погода отдадут нас в какой-то приёмник. Да, я был очень мал. У крёстного Янека, поляка-краснодеревщика, я путешествовал под многочисленными

столами, диванами, кушетками и очень даже неплохо изучил все подстоля и прочие «под», а однажды в одном из подстольных зазоров обнаружил что-то спрятанное ото всех и был наказан.

Надо сказать, столярное дело, которым занимался Янек, мне очень нравилось. Особенно я полюбил стружки. Они были замечательно красивы и вкусно пахли. Я даже пробовал их есть.

Помню ещё, что Феля, уже после того, как заболел от побоев в школе за отца-шпиона, подолгу стоял у большой географической карты Янека, водил по ней пальцем и беспрестанно искал, куда же увезли отца и матку Броню. С тех пор у меня на всю жизнь осталась какая-то неприязнь к школе. А Янек говорил, что увели отца и матку в Большой дом.

И что это за дом? И почему туда уводят шпионов?

Я представлял, что в глухом лесу с высочайшими деревьями, как в сказке «Мальчик-с-пальчик», стоит Большой дом, где живут братья и сёстры — шпионы. А что такое шпионство — никто не знает, кроме них. Это большая тайна. Поэтому и лес густой, и дом Большой. А таких малявок, как я, туда не берут, а мне всё-таки хочется. Я же остался один, брат мой Феля вскоре умер в дурдоме от воспаления лёгких.

А меня сдали в казённый дом, и жизнь моя с тех пор стала казённою. Незнание русского заставило меня снова замолчать, так как пшеканье моё

раздражало многих сверстников и было для меня опасно: они думали, что я их дразню, и я снова стал надолго немым. Нас перевозили из города в город, с запада на восток, подальше от войны, и в результате я оказался в Сибири, под городом Омском. Всё вокруг меня говорящее пацанье громко кричало по-русски и даже — чтобы я чего-нибудь понял — ругалось, а иногда дралось:

— Что змеёй пшекаешь, говори по-русски!

Так я изучал русский язык и до четырёх с половиной лет вообще не говорил. Соглашался со всеми, но не говорил, «косил под Му-му», изображая немного. Говорить по-русски я стал неожиданно для себя уже в войну.

Нас кормили из кружек — тарелок не было. Были только металлические кружки и ложки. За столом сидело по шесть человек — шесть кружек, седьмая с хлебом, нарезанным брусочками, торчащими из неё вертикально. Суп, второе, если было, чай — всё из одной кружки. И это считалось нормальным. В столовку пускали, когда все кружки стояли на столе, а до этого орда голодных пацанов давилась у дверей. Открывались двери, и мы, как зверюшки, бросались к своим кружкам. Однажды вместо заболевшего шестого пацана за наш стол посадили прыщавого сопливого «залётку» (чужого, не нашего), и этот пацан, обогнав нас и неожиданно облизав на

виду у всех свой грязный палец, поочерёдно стал макать его во все наши кружки. И вдруг я что-то громко произнёс по-русски – сам не понял, но что-то связанное с матерью. Грязный пацан застыл в изумлении, а остальные испугались: ведь я же не говорил, был глухонемым – и вдруг заговорил, да ещё так. С тех пор я стал говорить по-русски и постепенно забывал свой первый язык.

‡ Но я отвлёкся от главного, от того, что нас, пацанов-дэпэшников\*, в ту пору мучило, какие вопросы решали мы между собой:

– Вожди могут быть людьми или должны быть только вождями, и обязательны ли им усы?

– Кто лучше: шпион или враг народа? Или одинаково всё это? Мы же – все вместе.

Знакомились с вопросов:

– Ты шпион?

– Нет, я враг народа.

– А что, если ты – и то, и другое, как, например, я?

И ещё:

– Почему товарищ Ленин – дедушка? Ведь у него не было внуков. Может быть, потому, что у него борода, или потому, что он умер?

– Товарищ Сталин – друг всех детей. Значит, и наш друг?

---

\* *Дэпэшники* – воспитанники ДП (детприёмников) НКВД.

*О matka Броня, возьми меня в шпионы*

Наш старший пацан даже не выдержал и спросил воспиталку про Сталина. Она сначала страшно испугалась, а потом схватила его за шкварник и потащила к дежурной охране — мы слышали, как он там сильно плакал. И ещё было много, много вопросов.

Лично я считал, что шпионство — это не так уж плохо. Не мог же быть плохим мой русский отец Степан. Он был очень даже хорошим и красивым — посмотрите на фотографию. А милая моя matka ласково пела мне колыбельные песенки: «Спи, дитя моё родное, Бог твой сон храни...», или:

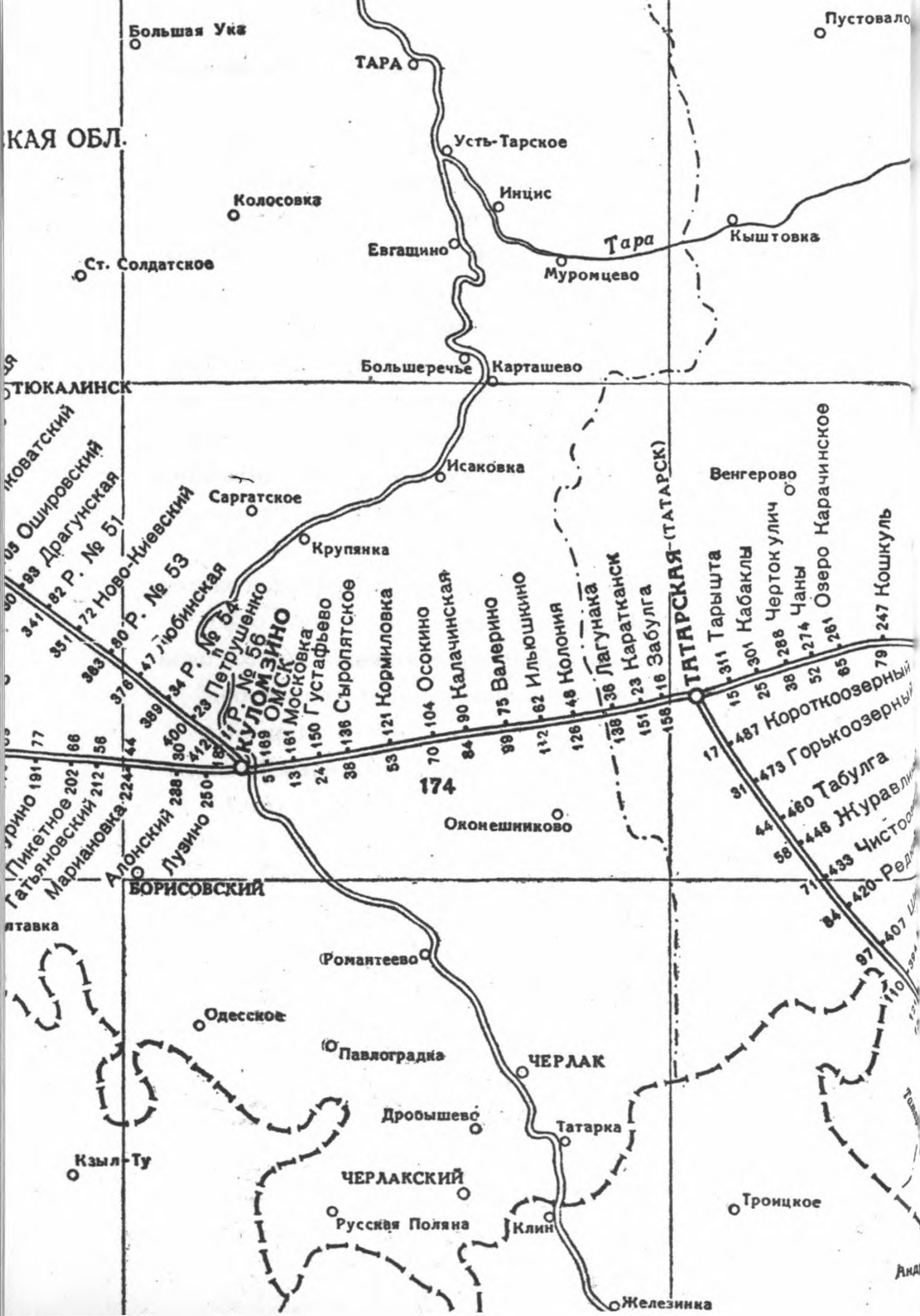
Z popielnika na Edwasia  
Iskiereczka mruga,  
Chodź! Opowiem ci bajeczke,  
Wajka będzie długa\*.

О matka Броня, возьми меня в шпионы. Я бендем с тобан по-польску розмавячь.

---

\* Искорка из поддувала  
Эдвасю мигает.  
Манит, манит, рассказать  
Сказку обещает (*польск.*).





Большая Ука

Пустовало

КАЯ ОБЛ.

ТАРА

Усть-Тарское

Колосовка

Инчис

Кыштовка

Ст. Солдатское

Евгашино

Тара

Муромцево

Большеречье

Карташево

ТЮКАЛИНСКИЙ

Исаковка

Венгерово

новатовский  
Ошировский  
Драгунская

Саргатское

Крупянка

Р. № 51  
Ново-Илевский

Р. № 53  
Любинская

Р. № 54  
Петрушенко

КУЛОМЗИНО

Р. № 56  
ОМСК

13-161 Москва

24-150 Густафьево

38-138 Сыропятское

53-121 Кормиловка

70-104 Осокино

84-90 Калачинская

98-75 Валерино

112-62 Ильюшино

126-48 Колония

138-36 Лагунака

151-23 Каратканск

156-16 Забулга

ТАТАРСКАЯ (ТАТАРСК)

15-311 Тарышта

25-301 Набаклы

38-288 Черток улич

52-274 Чаны

85-261 Озеро Карачинское

247 Кошкуль

Р. № 77  
Пикетное

202-66  
Гатяновский

212-58  
Мариановка

224-44  
Алонский

289-30  
Лузино

БОРИСОВСКИЙ

Романтеево

Одесское

Ю Павлоградия

ЧЕРЛАК

Дробышево

Татарка

ЧЕРЛАКСКИЙ

Русская Поляна

Клин

Троицкое

Железинка

Лавка

Кзыл-Ту

420-Редькино

407-Ш...

110-...

97-...

110-...

110-...

110-...

110-...

110-...

Андр...

*Часть 1*

## КОЗЯВНАЯ ПАЛАТА

*Я не мамкин сын,  
Я не папкин сын.  
Я на ёлке рос,  
Меня ветер снёс...*

*(Сиротский фольклор)*

## КАЗЁННЫЙ ДОМ

Картинки давних лет, которые когда-то казались нам обыденными, неинтересными, с годами буравят нашу память, высвечиваясь во всех неожиданных подробностях.

Наше житие в образцовом детприёмнике энкавэдэшного ведомства, спрятанном в посёлке Чернолучи на берегу Иртыша в далёкой Сибири, не представляло ничего особенного. Жили мы проживали в казённом доме, как говорили в народе, зато в тепле и под крышей крепкого четырёхэтажного кирпичного здания – правда, бывшей пересылочной тюрьмы, ставшей тесной для взрослого люда и отданной под детприёмник. На дверях палат виднелись ещё следы кормушек, а с некоторых окон не сняли тюремные решётки. Но нам они не мешали, даже наоборот, между рамой и решёткой мы умудрялись кое-что сныкать. Наш режим был строжайшим, почти тюремным, но зато спали мы на собственных кроватях с простынями и по красным праздникам и в день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина – 21 декабря каждого года – на

завтрак обязательно получали по куску хлеба, намазанного сливочным маслом.

Официально насельники детприёмника делились на четыре уровня: самые старшие, просто старшие, средние и младшие. Возрастная разница между уровнями составляла два-три года. Неофициально, по внутреннему раскладу, главные старшаки именовали себя пацанами, следующие старшие назывались шкетами. Жили они вместе на четвёртом этаже и занимали несколько палат-камер. Мы же – средние, дошкольники от шести до восьми лет, обзывались козявками и обитали в двух палатах третьего этажа. Против нас, через лестницу, также в двух палатах, содержались мальки-зародыши – моложе шести лет, на нашем языке называемые колупами. Принадлежавшая им половина закрывалась на замок, и видели мы их только в столовке или во дворе, и то через зарешёченные окна. На дверях палат нацарапаны были наши прозвания: пацаны, шкеты, козявы, колупы.

Левую сторону второго этажа занимали столовка, по-нашему – хавалка, или хряпалка, и кухня. С правой стороны, как раз под нами, находился большой актовый зал имени Дзержинского с портретом Феликса Эдмундовича на центральной стене. Под ним стоял длинный стол президиума, застеленный красным полотнищем, а перед столом – ряды скамеек. Зал этот почти всегда пустовал. Только по

праздникам нас сгоняли туда и выстраивали в честь торжеств и приехавшего начальства. За стеной с портретом козлородого Феликса помещалась ещё одна порядочная комната – для собраний воспитателей и руководителей детприёмника. Там никто из нас не был, но мы знали, что вохра по выходным дням и праздникам пьянствовала и веселилась за спиной своего легендарного вождя. На боковых стенах зала висели две громадные картины в рамах – «Сталин в Туруханском крае» и «Молодой вождь среди бакинских рабочих», по-пацаньи – «сходка блатных», или «откачка прав».

На пути в столовую между первым и вторым этажом, на тяжёлом пьедестале, размалёванном под тёмно-красный мрамор, стоял белый гипсовый бюст дедушки Ленина в окружении горшков с цветами, втихаря называемый у нас «Лыской в саду». Накануне Дня Победы его вдруг покрасили бронзухой, и преступное хулиганье тут же переименовало его в «Бронзовик на отдыхе».

Первый этаж целиком принадлежал управе и её подразделениям. Справа, у главного входа в приёмник, находилась проходная со шмонной комнатой вохры, где производился конвейерный досмотр входящих после прогулок или работы пацанов. Но мы к этим обыскам приспособились и ловко прятали, передавая по цепочке, приносимые с улицы ценности.

За шмонной, в бывшей камере, помещался изолятор-санпропускник, куда привозили новеньких, — их выдерживали в карантине несколько дней, обрабатывали, а затем поднимали в палаты.

В следующих двух камерах находилась медчасть — одно из страшнейших заведений детприёмника, на нашем языке — мралка, или капутка. Попав туда, мало кто возвращался на этажи. Командовала этой конторой фельдшерница по имени Капа Кромешница. Помощница её, глухонемая санитарка, животная грязнуля, от запаха которой дохли мухи, не убиралась, а только размазывала нечистоты. Летом воспитанники на принудительных прополках в подсобном хозяйстве с голодухи жрали невымытые овощи и помирали у Капы от кишечных болезней. Однажды после перебора умерших в приёмник приехала какая-то комиссия в погонах и устроила за это местным шишкам разнос. После отъезда погонников мы видели, как дэпэшная начальница, ругаясь бабским матом, своими жирными кулаками лупила кромешницу по её первобытным глазам.

Заканчивался коридор двумя карцерами. Они как были эковскими камерами в предварилровке, так и остались, ничего там не переменилось. Среди козявок, шкетов и даже пацанов ходили слухи, что в этих бывших камерах водятся привидения — духи замученных арестантов пересылочной тюрьмы, и что ночью

они выходят оттуда и проникают к нам на лестницу и, минуя Лыску, тоже бывшего зэка, поднимаются на второй и третий этажи. Не дай бог попасть к ним в руки — утащат с этого света на тот. Много раз по ночам мы слышали с лестницы какие-то протяжные стоны со странными подвываниями. Возможно, это был сквозняк.

## ПРО ЖАБУ И ЧЕЛЯДЬ

Вторая, левая половина нижнего этажа принадлежала Жабе и её помоганцам. Не удивляйтесь, начальницу нашего детприёмника НКВД СССР звали Жабой, и не только воспитанники — враги народа, но и её подчинённые — за глаза. Эта точная кликуха затмила имя и отчество, при попытке вспомнить, как её всё-таки величали, вспоминается только огромная усатая жирная тётка с коротенькими толстыми ручонками, со многими подбородками при отсутствии шеи и маленькими, выпуклыми лягушачьими глазками, обязательно ряженная в зелёные платья, шёлковые или шерстяные, в зависимости от времени года. Начальницей в своём ведомстве она считалась необычной — энкавэдэшные достоинства совмещала в себе с талантом великой художницы-сталинописки.

Её огромный кабинет, размером с нашу палату, то есть трёхкамерный, выглядел настоящей мастерской художника. Два здоровенных мольберта, тумба с красками и кувшин с кистями были главными предметами в официальном обиталище Жабы. По центру зала между мольбертами стоял большой письменный стол с двумя креслами, а над начальственным «троном» висел чёрно-белый литографский портрет родного отца всех наших заведений, наркома НКВД СССР Лаврентия Павловича Бери. Прямо против него в старинной золочёной раме красовался сам вождь – Иосиф Виссарионович, в кителе, с трубкой в руке, он с загадочной улыбкой поглядывал на земляка Лаврентия. На мольбертах громоздились два огромных полотна с главной темой всей жизни Жабы-художницы – Сталин и дети. В мастерской-кабинете пахло масляными красками, скипидаром и вкусным табаком. Она курила какие-то длинные папироски. Служба шепталась, что это любимое курево вождя, что начальница, как большая шишка и его портретистка, вполне их заслуживала. Её портреты и картины с генералиссимусом забирали важные военные начальники, приезжавшие на машинах.

При всём таланте и значимости эту тётеньку в ДП не любили и стар и млад, и сестра и брат, как говаривала наша посудомойка Машка Коровья Нога. Даже вохра не бояла про неё ничего хорошего. Смотрела



она на всех со своих начальственных гор как на букашек, копошащихся внизу, которых в любой момент можно раздавить или отправить в никуда.

Правой рукой начальственной Жабы служил воспитатель пацанов, награждённый кликухой Крутирыло. Бывший старший надзиратель, сосланный к нам из колонтая\* для укрепления рядов, а может быть, после какой провинности. Происхождением своим он гордился и при воспоминаниях о прошлой работе почёсывал волосатые руки. Видать, в ИТК специализировался по рукоприкладству. «О шо мы сделаем с им... О шобы неповадно было...» – говаривал он, ведя за шкварник в карцер провинившегося пацанка.

Ближайшими заспинниками надзирателя были три охранника – Пень с Огнём, Чурбан с Глазами и просто Дубан – старший попердяй, сексот и болтун, выполнявший в ДП роль возилы-экспедитора. Первые двое работали ещё ключниками и гасилами – вырубали перед сном свет в палатах, отдавая приказ – спать, и закрывали на замки двери отсеков, выходящих на шахту лестницы. По утверждению никого не боявшейся посудомойки, все эти типы были трусливыми животными, которые прятались от фронта в детприёмнике НКВД.

---

\* *Колонтай* – колония для несовершеннолетних (*блатн.*).

Воспиталкой мальков-колупашей служила здоровенная бабила, которую охранники именовали Бедрушей. Эта воспитательная тётенька совсем не стеснялась в выражениях. Попавшему под ноги огольцу могла приказать: «А ну, ты, подбросок, скакни в сторону, не то раздавлю». Всё та же полоскательница Машка Ёрovieя Нога обзывала её мандярой залётной. А её попойки с вохрой комментировала ещё круче: «Какая она, прости Господи, воспиталка, раскладушка бедрастая, вот она кто. Хотелку свою пристраивает».

Среди значимых для нас особ были ещё две тётки. Одна из них — кастелянша, или завскладом, выдававшая нам шмотки, полотенца, мыло, спальное бельё, обзывалась самой охраной Ржавчиной за порчу оспой своего и так страшноватого лица. Носила она военную форму, только без погон. К её полинялой гимнастёрке прикручен был орден Боевого Красного Знамени. По рассказам, она в Гражданскую войну героически партизанила в сибирской тайге и там заржавела, то есть перенесла оспу. С нами партизанка почти не разговаривала, только при смене белья, высунувшись из своей подвальной каптёрки с окурывшем «Ракеты» в зубах и осмотрев очередь пацанвы неподвижными глазами, хрипела горлом: «Ну что, вражины, выстроились — чистенького захотели?» В начальстве её недолюбливали — орденосная

Ржавчина была для них слишком идейной, ископаемой революционеркой. Вторая — дэпэшная кормильщица, повариха, незнамо отчего покрасневшая на всю жизнь, такая же жирная, как Жаба, с типичной обзовухой — Свиная Тушёнка. Единственное слово, которое она произносила в нашу голодную сторону, когда речь шла о добавке, — «не положено», и разворачивалась к нам сытой спиной.

## ОТДЕЛЬНО ОБ ОЧКАРИКЕ

Пожалуй, единственным человеком во всей начальственной подворотне был старый дяденька Ефимыч — счетовод. Людишкам, обращавшимся к нему с вопросом: «Вы бухгалтер?» — всегда отвечал: «Нет, я счетовод». Этот лысый очкарик в нашей среде считался странным взрослым: во-первых, он обходился с нами как с равными людьми, во-вторых, при встрече улыбался и вежливо спрашивал: «Ну, молодой человек, как ваша поперечная жизнь?» Конечно, никто из нас не мог ему ничего ответить, да и как понять, что это за «поперечная жизнь» у нас — козьяв. Многие даже сторонились его. У Ефимыча на достопримечательном носатом лице торчали очки толстого стекла. Для протирания их он носил специальную

мягкую тряпочку, пришитую верёвочкой к нагрудному кармашку засаленного пиджака. Каждый раз, снимая припотевшие очки, закрывал свои припухлые покрасневшие глаза и обязательно, отвернувшись от всех, тщательно протирал их пришитой тряпочкой. Пацаны про его протирку очков втюхивали нам, козявам, что Фимыч боится, что щипачи стибрят драгоценную тряпочку и он ослепнет. Этот бухгалтер-счетовод производил впечатление персонажа из какой-то старой нечитаной сказки.

## ТЁТОЧКА МАШКА И ДЯДЬКА ФЕМИС

Из близких и доступных нам взрослых было ещё двое. Ремонтный, как его официально обзывали, человек, дядька Фемис — Фемистокл, — грек по национальности, и тётенька, или тёточка на языке колуп, Машка, Машка Коровья Нога по дэпэшной кликухе.

Дядька Фемис умел делать абсолютно всё: строить, пилить, строгать, столярничать, слесарить, паять, красить, шпаклевать, точить, сапожничать. Все глаголы мужского деланья относились к нему. Начальница Жаба эксплуатировала его нещадно. Он рубил ей баню, перекладывал печку в доме, изготавливал подрамники, натягивал холсты, обрамлял их,

делал новые двери, мебель. Короче, вкалывал как раб. Днём и ночью дядьку можно было видеть в закуте сарая-склада, где находились верстак и маленькая иззёбка\* с крошечной печкой; там он и жил. Вероятно, НКВД выслал Фемиса из родных мест в Сибирь без права выезда и отдал в крепость нашему детприёмнику. Жаба на большие работы разрешала ему брать в помоганцы старших пацанов. Это считалось счастьем, мастер расплачивался с ними местным табаком-самосадам, естественно втихаря. А мы, дурачки, спрашивали его:

— Дядя Фемис, ты грек древний или просто грек? Бедруша говорит, что ты появился из древних греков.

— На то она и Бедруша. Появился я из крымских греков.

— А ты шпион или враг народа?

— Я ни то, ни другое.

— А почему ты здесь?

— Потому что я — крымский грек.

— А тебя назад пустят?

— Не знаю. Спросите Бедрушу, она всё знает.

Тётенька Машка прозывалась Коровьей Ногой из-за врождённой инвалидности. У неё на левой ноге вместо ступни была только пятка — «копытце». Поэтому ковыляла она по-особенному, в специальной

---

\* *Иззёбка* — избушка (обл.).

обувке. Более доброго существа во всей нашей огороженной географии не имелось. Колупам она подбрасывала съестного, вкусного – чищеную морковку или молодой турнепс. Подлечивала их боевые раны на локтях и коленках подорожником. Нам, козявам, тоже помогала жить, прикладывала к очередной шишке медяшку или смазывала подсолнечным маслом обожжённую у печки руку, обязательно выговаривая ковыряшке: «Пошто сам в печь к яге лезешь, тербила, дёргала, рукой огонь погасить хочешь, царапала, рвала, драла». Защищала перед вохрой, покрывала их такими российскими словами, что они пасовали перед нею, закрывая свои хайла. Начальницу не уважала, называя худоёжницей. Из дэпэшных людей признавала только работного человека Фемиса. Он ей в конце войны стачал пару высоких ботинок из лоскутов где-то добытой кожи. Левый ботинок специально для её копытца. Когда сделал и подошло, Машка по этому поводу устроила на радостях в сарае пьянский праздник с самогоном. В конце праздника в новых зашнурованных ботинках стала плясать и петь непотребные частушки, одну из которых я запомнил на всю жизнь:

Из-за лесу тёмного  
Везли ...уя огромного.  
На двенадцати слонах,  
Весь закован в кандалах.

Более монументального образа не сочинить. Это прямо-таки сталинский Гомер.

Про других, малозначимых для нас людишек говорить — только время тратить. Были ещё всякие-разные, но каким-либо своим интересом в памяти не застряли.

## О БАНЕ

Совсем на краю посёлка, через улицу, на берегу Иртыша располагалась вторая половина детприёмника — женская, то есть девчачья, где в трёхэтажном кирпичном доме держали мелких врагинь — дочек врагов и шпионов. На их территории, в отдельно стоящем строении с большой трубой, помещалась баня, куда нас строем, под командой Жабьих салонов, раз в неделю водили мыться. В натуре мы ни разу не видели врагинь. Их в наши приходы не выпускали во двор. Но когда мы, отпаренные, с грязными шмотками под мышками, возвращались назад мимо их дома, то из его тёмных окон со всех трёх этажей за нами наблюдали многочисленные любопытные глаза наших несовершеннолетних поделниц.

## О СЕБЕ И ОБ ИГРУШКАХ

Каждый из наголо стриженных воспитанников детприёмника имел личные особенности, но в общении их не показывал. Нам, козявам, позволялось иметь столько, сколько положено, то есть сколько разрешит старший пацан или более сильный однопалатник. Друг друга звали мы только кликухами, которые присваивали каждому, порой забывая подлинные имена своих соседей.

Я старался не вмешиваться ни в какие споры или междоусобицы. По возможности даже исчезать с глаз долой на время каких-либо смут. Постепенно это стало хорошо получаться — я пропадал, как тень, незаметно, ко всему ещё был жуть как тощ — по стенке стелился. Так и заработал кликухи — Тень и Невидимка. В ту пору если я имел какие-то способности, то по части исчезания. Я ловко растворялся, когда было надо или просто когда хотел. Охрана дивилась: был только что здесь — и вдруг нет, из рук ушёл.

Однажды нас, дэпэшников, в одном из городов по пути в Сибирь вели в больницу на осмотр к врачам. По дороге мы проходили мимо дома с крыльцом. Большая фигуристая дверь была почему-то приоткрыта. Меня вдруг потянуло в неё, и я не стал сопротивляться. Незаметно отделившись от отряда, я попал в тёмный обширный предбанник. Слева, справа



и прямо передо мною возникли ещё двери. Я выбрал правую. Медленно открыл её и вошёл в освещённую тремя окнами большую комнату с красивой изразцовой печью. Зала оказалась почти пустой. Кроме небольшого дивана и двух старинных кресел на чистом паркетном полу я увидел солидный деревянный сундук — ящик, обитый металлическими полосками, с открытой крышкой, а вокруг него валялось, лежало, стояло множество детских потрясающих игрушек. Прямо какая-то невидаль для меня. Я и предположить не мог, что на свете может быть так много игрушек.

Мать моя, потеряв работу с арестом отца, кормилась подёнщиной. Покупать игрушки для меня было не на что. Я рос без них и поэтому всё вокруг себя превращал в игровое пространство. Короче, играл во всё и со всем абсолютно: с тенями на стене или потолке, с лучиками солнца, с любимыми насекомыми ползучками и летучками — мухами, жуками, мурашками. С рисунками обоев, находя в сочетаниях линий морды разных страшил и зверей, про которых мне рассказывала матка Броня. Из подтёков на потолках и пятен от протечек на стенах создавал то страшных злодеев, то крокодилов, *каркадилов*, как я их в то время обзывал, или ещё хуже, свирепых загадочных гиппопотамов, которых я и сейчас боюсь. А если мне в руки попадало что-либо существенное,

с чем можно поработать, я забывался, мне было хорошо — я творил, пытаюсь создать что-то своё. Предмет, попавший ко мне, оказывался развинчен, сломан, порван, и матка, придя домой с работной маеты, находила меня в кровати, всего обмазанного, среди остатков чего попало, но всегда улыбающегося. Одно время она даже опасалась, не со сдвигом ли я каким в голове.

Ещё одна картинка из того довоенного времени, связанная с игрушками, осталась в памяти моих глаз. Тётки по отцу, узнав о моём сиротстве после ареста матери, приехали в Ленинград со своего старообрядческого Севера с задачей крестить мальчишку в древнюю веру поморского обряда, чтобы их ангелы его в неволе охраняли. Уговорив моего крёстного Янека отдать им племянника на день по родственным делам, тайно ото всех повезли меня на красном трамвае далеко-далеко через весь город в Знаменскую церковь села Рыбацкого. Они не знали, что я уже был крещён маткой Броней в католичество. На какой-то остановке через окно трамвая я увидел в огромной стеклянной витрине магазина множество всяких ярких игрушек. Самолёты, танки, машины, слоны, лошадки, мишки, домики, мячики и ещё неизвестные мне, но очень интересные какие-то штуки заполняли сверху донизу всю витрину. Я прилип к стеклу, жадно разглядывая это кино, но трамвай тронулся, и всё

только что появившееся передо мной поплыло мимо глаз, превращаясь в нереальный сон. Мои суровые русские тётки с трудом отлепили меня от стекла трамвая, но видение осталось в памяти на всю жизнь.

Войдя в тёмную церковь, тётки долго шептались с древним, укутанным в бороду дедкой на своём поморском наречии. Затем дедка, облачившись и расправив огромную бороду, превратился в батюшку, подвёл меня к большой металлической купели, наполненной водой, заставил подняться на табуретку, почувствовал сопротивление, ущипнул больно за попку и, схватив за кудри, резко макнул мою голову в воду. Я закричал от неожиданности и насилия.

— Громко возопил — ангела-хранителя зовёт. Терпи, отрок, в жизнь выходишь. Боль и есть жизнь, привыкать к ней надобно, — сквозь темноту обратился ко мне с напутствием старый поморский батюшка.

Затем с какими-то распевами обвёл нас вокруг купели несколько раз, сделал ещё что-то, велел поцеловать восьмиконечный крест и наконец отпустил.

Возвращались затемно. Витрину с игрушками на обратном пути я не выглядел, а, попав в детприёмник, забыл это диво до моего случайного проникновения в чужой начальственный дом с кучами оставшихся с довоенных времён игрушек. Среди их бесконечного разнообразия глаз мой застрял на

поезде с чёрным паровозом на красных колёсах, с зелёными вагонами и тремя платформами. На двух из них стояли пушки, а на третьей находился танк. Поначалу я обалдел от изумления, оробел от неожиданности и доступности увиденного до такой степени, что сразу и не заметил среди всей невидали пацанка в фуфырчатой рубашонке и коротеньких штанишках, восседающего на крашеной деревянной лошадке среди домиков, корабликов, поездов, машин, мишек, кошек и прочего добра. Пацанок был моим ровесником, но домашним, ухоженным. Увидев меня, дистрофика, он застыл на время и вытаращился в мою сторону светлыми капризными зенками. Почувствовав мой голодный интерес к его богатству, он спрыгнул с лошадки и стал хватать розовыми ручонками игрушки с полу, показывать их всеми сторонами и оттаскивать, складывая в сундук, то есть стал дразнить меня своей собственностью. Его жадность мне страшно не понравилась, и я неосознанно совершил грех перед моими ангелами-хранителями. Когда пацанёнок, забрав с пола красную пожарную машинку, устраивал её в свой сундук, перегнувшись через край, я, подняв его толстые ягодички вверх, помог ему кувырнуться целиком внутрь хранилища игрушек. Крышка сундука сама захлопнулась, накладка замка наделась на дужку, и малёк оказался запечатанным. Он громко завизжал в закрытом ящике,

а я мгновенно исчез, не забрав ни одной игрушки из его сказки. В ту пору я ещё не воровал, а только приглядывался.

## ДЕТПРИЁМОВСКИЕ ИГРЫ

От нормальных детских наши дэпэшные игры и развлечения сильно отличались. Мы ничего не имели, и любая фигня, которую случилось найти во дворе или на улице при походах в баню или ещё куда, становилась большой ценностью. Подбирали всё: пуговицы, случайные куски проволоки, кривые старые гвозди, шайбы, гайки, болты, трубки, катушки, выброшенные лезвия безопасных бритв, куски картона и бумаги. Собирали всё, что можно, на всякий случай. Собранное прятали в тайниках на дворе и в палатах. Затем из этих случайных штук соображали свою «мечту» и этакими самоделками играли. Например, любимую маялку\* старшаки изготавливали из козьего меха и свинца, добытого из выброшенных аккумуляторов. Играли в неё только пацаны, и то

---

\* *Маялка* — кусочек козьей шкуры, зажатый между двумя свинцовыми или медными дисками так, чтобы мех торчал по краям. Диаметр мялки 5–6 см. Играли в мялку, подрасывая её ногой на счёт.

тайно — между поленницами дров во дворе, выстав-  
ляя нас, козьяв, на агасе. Играли на жратву — завтра-  
ки или ужины.

Почти у каждого из нас была рогатка. Резинки  
для них выдергивали из трусов или шаровар. Охоти-  
лись на ворон, которых вокруг водилось множество.  
Стрелку, уничтожившему больше всех ворон, при-  
сваивалось звание вороньего князя или маршала.  
Пульки для стрельбы делали из металлической про-  
волоки.

В 1944 году к нам стала доходить американская  
помощь. Не могу сказать, что из неё доставалось не-  
посредственно нам, воспитанникам, наверное ма-  
карроны. О них до этого года мы не имели понятия.  
Картонные коробки, в которые паковали американ-  
ские продукты, мы тибрили со двора, разбирали  
их и использовали во многих наших поделках. На-  
пример, из этого плотного картона делали замеча-  
тельные шашки. Заготовки картона, нарезанные по  
размеру, аккуратно склеивались, ошкуривались и  
окрашивались чёрной краской. Рисунок набивал-  
ся по трафарету. Когда всё высыхало, покрывали  
спиртовым лаком. Благодаря лаку картонные шаш-  
ки становились твёрдыми и при приземлении на  
столешницу стучали как настоящие. Производство  
это осуществлялось под руководством и при участии  
«древнего грека» — дядьки Фемиса. Он варил нам

клей, давал наждачную бумагу и лак. Со временем качество шашек достигло такого совершенства, что вохра отобрала у нас два комплекта для себя.

Позже, ко Дню Победы старшая пацанва умудрилась изготовить три «боевых» самопала-пугача и под шум официального салюта в честь Победы над фашистской Германией устроила наш «фейерверк». Один из пацанов при этом был ранен – ему обожгло спичечной серой пальцы.

Самой запретной игрой в детприёмнике были карты. Играли в очко или в буру, других игр не помню. Естественно, занимались этим старшаки. Мы, как всегда, стояли на атасе. Карты также производились в стенах приёмника. Работа эта считалась квалифицированной, и не всякий мог её делать. Необходимы были определённые способности. Будучи ещё обыкновенным козявкой, я стал пробовать себя в рисовании карт. Силой и крепостью я не отличался. Дразнилка про меня «скелет семь лет, голова на палке» соответствовала действительности. И необходимость чем-то защищаться от побоев и унизилок заставила меня заняться изготовлением цветух, то есть игральных карт; этим делом можно было спастись.

Со временем, освоив производство, я победил других желателей на эту уважаемую работу и шустрил их почти целыми днями. За пять-шесть дней

изготавливал полную челдонку (колоду) и передавал цветущникам. Карты мои всем нравились, и пацан-хозяин стал надо мною держать мазу, то есть никто меня не смел трогать.

В детприёмнике я поначалу интуитивно, затем головой понял простую истину – в шобле ценили хорошую ремеслуху.

Летом сорок пятого года меня за таланты перевели из козявок в шкеты, а это уже путь в пацанву.

## ПРО ТАРАКАНОВ

Из всех подвигов, поручаемых пацанами нам, козявам, самым интересным была ловля тараканов. Дело в том, что время от времени старшаки вдували их в щель между дверью и полом в кабинет ненавистной начальницы Жабы. Эта партизанская операция считалась страшно опасной, и все посвящённые специально готовились к её исполнению. Нашей козявной обязанностью было поставлять живых таракашек пацанве, и мы старались от души. В ту военную пору ловля пруссаков была для нас идейной, мы пленяли не тараканов, а фашистов, поэтому энтузиазм наш не ослабевал. Усатых в дэпэшном доме было полно, особенно вокруг кухни и столовой.



Мы, прячась от охраны, загоняли их в самодельные ловушки-кульки из кусков газет, ловили руками, заманивали крошками в спичечные коробки, бутылки и тому подобное. Заполнив несколько бумажных кульков или коробков, передавали пацанам. Они набивали тараканами специально скрученные из обрывков бумаги трубочки с уплощённым, завернутым концом, а другой конец затыкали пробкой из веток или бумаги — и снаряд готов. Скапливали их несколько штук и ждали удобного момента для атаки.

Обычно партизанская вылазка происходила по воскресеньям или в красные праздники, когда Жабы в ДП не было и когда вохра наша стояла на бровях. Пацаны по очереди подкрадывались к дверям начальственного кабинета, просовывали в щель между полом и дверью завёрнутый конец бумажной трубки, выдёргивали затычку с другого конца и, лёжа на полу, с силой дули в трубку. Свёрнутый конец её раскручивался, и таракашки влетали в кабинет. Летом во время прогулок вдували тараканов со двора в открытое окно с помощью трубчатого растения, называемого в Сибири зонтиком. Из этих натуральных трубок мы изготавливали также насосы и поливали друг друга водой, отвлекая внимание церберов от боевых действий.

Жаба не могла понять, откуда в её кабинете-мастерской берутся проклятые тараканы, да ещё в таком

сумасшедшем количестве. Среди малых козьяв и колу-пашек кто-то пустил легенду, что начальники едят пруссаков со специальным соусом. Один из мальчиков даже спросил Гиену Огненную — охранника внешней проходной: правда ли, что тот ест тараканов с соусом? За что заработал здорвенную шишку.

## КОЗЯВНАЯ ПАЛАТА

Козьявное житие наше проходило, как уже упоминалось, в двух палатах третьего этажа. В одной, малой, сделанной из двух камер бывшей тюрьмы, содержались младшие козьявы — меньшевики, в большой палате из трёх камер обитали мы — большевики. Мы, как положено, подавляли меньшевиков по закону старшинства.

Следы кирпичных перегородок между бывшими камерами делили большую палату на три части. Три зарешёченных окна находились против трёхдверных проёмов; в двух из них, с заколоченными намертво дверьми, стояли небольшие столы для занятий и игр, а в третьем проёме была действующая дверь.

Если младшие подчинялись нам, то мы, в свою очередь, беспрекословно слушались шкетов и пацанов, то есть шестерили на них по местным законам.

И никаких туликов-муликов, иначе «точка» по твоей стриженной башке или ночной «велосипедик» — поджог пальцев ноги во сне.

В своей палате мы редко ругались и почти не дрались. Назначенный пацанвой козявным авторитетом, самый сильный среди нас типок по фамилии Ротов, сокращённо — Рот, а по полному прозвищу Носопыр Косоротый, не отличался звероподобством и своих не обижал. Среди других многих козяв заметным был Петруха Медный Всадник, обозванный так начальницей Жабой за оседлание Машкиной свирепой козы во дворе детприёмника, вечно голодный обжора, про которого та же Машка говаривала, что он ртом глядит, животом думает. Затем рыжий парнишка, любитель стоять на атаках, по прозвищу Клоп, за которым во дворе на прогулках гонялись все кому не лень с криками «Дави его!». За ним Бебешка\*, единственный среди нас игрок в маялку, бесконечно проигрывавший пацанам свои завтраки. И конечно, Шишкуля Аэродром, широкий бесшейный малец с плоской башкой-аэродромом, на которую каждый проходящий приземлял свой щелчок. От сильных пацаньих щелчков он приседал, чтобы уменьшить удар, и хлопал своими выпученными глазишками.

---

\* *Бебешка* — одно из названий игры в маялку.

Особо хочу вспомнить нашего палаточного Дурика Мокрушу — совсем незащитного поскрёбыша. Он жил у нас на самом краю палаты, у двери, так как писался каждый день. Несмотря на его большие странности, мы почему-то жалели Дурика. Каждый день за час до сна, а иногда по утрам он в центральном проходе между кроватями маршировал, скандируя дурашливую присказку: «Кыр-пыр, восемь дыр, кыр-пыр, восемь дыр». Однажды главный надзиратель Крутирыло, услышав присказку «кыр-пыр», схватил нашего Дурика за шкварник, повернул к себе и стал рассматривать его, как приговорённого к закланию кролика, своими холодными стеклянными глазами удава. И, встряхнув Мокрушу, спросил:

— Ты знаешь, что такое кыр-пыр? А?..

— Нет...

— А кто тебя научил этому? А?..

— Не зна-а-аю... — захныкал ответчик.

— Кыр-пыр — это сокращённо «красный пролетарий», а твоя присказка — клевета на пролетариат и советскую власть. А ну идём со мной, гадёныш!.. — И, подняв за шиворот бушлатика, оттащил испуганного Дурашку в карцер. Там держал его на голодном пайке, допрашивая каждый день, пока тот не смолк.

Через несколько дней Мокрушка появился в палате, худой и тихий. Между кроватями он более не

маршировал. Только любого входящего в палату спрашивал слабым голосом: «Где был, что ел?» Однажды он обратился с этим вопросом к важному начальнику в погонах, приехавшему к нам с инспекцией:

— Где был, что ел?

Все Жабовы шестёрки, кучей сопровождавшие погонников, в испуге завопили, что воспитанник сдвинутый и его надо лечить. Начальник постоял перед застывшим Мокрушей, подумал, глядя на него, затем, повернувшись к Жабке, приказал:

— Лечить немедленно.

На следующий день Дурашка исчез из нашей козьявней жизни навсегда. Сердобольная тётка Машка заявила саловонам-надзирателям, что они грех взяли на грудь перед своими Марксами и Энгельсами. Дурика нельзя обижать, он у Бога на охранении.

Ночное козевание у нас начиналось после ухода последнего цербера-гасилы — Чурбана с Глазами, вырубавшего в палате свет перед сном. Чурбан, сокращённо Чурба, гасил включалу, то есть выключал свет в палатах, своим пропитым голосом приказывал спать и вешал со стороны лестницы здоровенный амбарный замок на дверь козьявнего отсека. После того как затихало бряцанье его ключей, в палате объявлялась амнистия, и мы начинали жить своей жизнью. Самые запретные и заповедные дела козьяв

совершались ночью. Если за окном светила луна, то из тайников доставался рабочий материал и инструменты. Все умеющие шевелить руками мастрячили что-нибудь стоящее, необходимое, в том числе и боевые рогатки с пульками к ним. Одновременно один из нас рассказывал разные сказки-страшилки или события из жизни. Популярными были воспоминания о еде на воле — кто что ел до казённого дома. Лично я во время амнистий работал над картами-цветухами или выгибал из медной проволоки профили вождей. Засыпали мы часа через два после отбоя.

## ПОБЕДНАЯ КАРТИНА

Главные рабочие обязанности воспитанников связаны были с двором и кухней. Двор мы подметали, чистили дорожки, осенью собирали в кучи листья и сжигали их, зимой разгребали снег и снова очищали дорожки для прогулок. Под руководством Фемиса складывали на зиму поленницу дров; кололи дрова зэки. В конце зимы в подвалах перебирали овощи, в основном картошку. Летом старших из нас брали полоть морковь, свеклу, репу на полях подсобных хозяйств НКВД. Работали там по соседству со взрослыми зэками, но их к нам не пускали.

Самой трудной повинностью считалось позирование для сталинских картин художницы Жабы. Детей она писала с нас – сыновей и дочерей врагов народа и шпионов.

Особенно запомнилась весна 1945 года. Для картины «Дети поздравляют товарища Сталина с Победой» Жаба из нас, козьяв, выбрала нескольких ребят, в том числе и меня. По её замыслу, поздравление происходило в яблоневоm саду. Нас по одному, а иногда и по двое водили в сад, росший за домом, где она жила с какой-то старой тёткой Морщиной и двумя петухами. Кур мы ни разу не видели.

Сразу после завтрака, прямо из столовки, детприёмовский экспедитор Балабон забирал меня с собой и доставлял к месту мучений. По дороге он безостановочно толкал нравоучительные речи, отвлекая внимание от поисков попутных ценностей для наших поделок. В саду под его глазом я менял казёнку на белую рубашку и коротенькие штанишки, а вместо бахил надевал новенькие сандалеты и, получив в руки букет полевых цветов, ряженым становился под цветущую яблоню ждать выхода Жабы. Тем временем Балабон выносил из дома складной мольберт, холст на подрамнике и ящик с красками на ножках. Все предметы не спеша расставлял против меня и только после этого шёл за художницей. Через две минуты из двери дома с длинной папиросой в зубах

выплывала Жаба. Не поздоровавшись, подходила прямо ко мне, жирными лапами поворачивала мою голову в нужное ей положение, поднимала мои руки с букетом выше плеч и, приказав не шевелиться, начинала работу. Самое тяжёлое в этой барщине было не дёргаться под атаками злющих весенних комаров, которые норовили сожрать меня без остатка. Если я пытался отбиться от пожирателей, Жаба с шипом подскакивала ко мне и, больно ущипнув, ставила мои шарниры на место. В детприёмник я возвращался весь опухший от комариных укусов и с тяжёлой головой от лекций Балабона. Через день меня снова вели в жабий сад кормить свирепых летучек.

С готовой картиной я уже летом познакомился в кабинете-мастерской, куда вызвала меня начальница по доносу, что я тоже художничаю – из медной проволоки делаю профили Иосифа Виссарионовича Сталина и Владимира Ильича Ленина, причём на глазах у всех присутствующих.

Войдя в кабинет, я узнал себя, изображённого на холсте, очень похожего, но только упитанного, розовощёкого, с умильным личиком, протягивающего вождю букетик цветов. На фоне цветущих яблонь среди радостной свиты детворы в белом маршальском кителе с орденом Победы стоял вождь и учитель. Я, самый маленький, с поднятой головкой взирал преданными зенками на белого генералис-



симусного Бога — победителя фашистов. От увиденного парадного полотна я поначалу онемел, а потом даже воскликнул: «Во здорово!» Затем мне почудилось, что снова меня одолевает комарьё, и я стал чесаться, стоя перед картиной. Жаба прервала моё отвлечение, цыкнув:

— Ну ты, шелудивый, покажи свой фокус с профилем Сталина.

Я молча достал из кармана шаровар скрутку медной проволоки, расправил её, вытянул руками до идеальной гладкости и стал сгибать, постепенно выстраивая рисунок, начиная с шеи и подбородка, снизу вверх, по кругу. Жаба очень внимательно следила за моими руками, и, когда я, закончив затылок, вышел на шею с другой стороны, подрезав её остатками проволоки, как на наградных медалях, она сняла со своей физиономии дальнорядные очки и потребовала положить профиль вождя на стол. Я выполнил приказ, положил перед ней проволочного Сталина. Она, впившись в него своими выпученными жабыми глазками, шамкнула:

— Ловко! Но больше не смей никоим образом этим заниматься, не то загремишь в спецху, а то и дальше. Делать вождей из проволоки не положено. Запомни это на всю жизнь.

Мне показалось, что последние слова она произнесла с некоторым испугом, естественно, не за меня,

а за себя. Выходя от Жабы, я ещё раз посмотрел на её картину — по ней совершал экскурсию здоровенный таракан.

После допроса, уже в палате, я понял, что зря показывал ей своё умение, надо было прикинуться дурачком, мол, да, пробовал, но не вышло, не получилось. Действительно, вскоре она начала ко мне придирааться. Пень с Огнём по её приказу два раза в неделю шмонал меня, отбирая всё, что находил в моих карманах или тумбочке. А ещё раньше, 9 мая, она меня, больного, упекла в карцер за кашель во время торжественного построения во дворе детприёмника по случаю Победы над фашистской Германией. И мне ничего не оставалось делать, как готовиться к побегу из этого Отдалённого Места Ссылных Каторжников на родину, что в результате я и осуществил, только несколько позже.

## ЧТО МЫ ХАВАЛИ, ШАМАЛИ, ХРЯПАЛИ

Еда была главной темой нашей жизни. Основные мечты дэпэшников вращались вокруг пищи, особенно зимой и весной. В это время, по словам нашей хромоножки, мы могли сожрать всё, что не прибито. Летом подкармливались на прополках с опасностью

схватить кишечную палочку и попасть в руки Кро-  
мешной Капы.

Кормили нас в большой общей столовке, по-на-  
шему – хавалке, на втором этаже. За каждым прямо-  
угольным столом сидело по шесть человек. На нём  
по периметру стояли шесть металлических зелёных  
кружек, седьмая по центру, из неё торчал нарезанный  
вертикальными кусочками ржаной хлеб – шесть кус-  
ков. Шесть суповых ложек лежали между кружками,  
и всё – тарелок никаких не было, – первое, второе  
и третье ели из кружек. Меню не отличалось разно-  
образием. Шамали мы три вида супов – гороховый,  
капустный, крупяной; крупяной суп с огурцами на-  
зывался рассольником. На второе чаще всего давали  
каши – пшёнку, ячневую, реже – картошку, картошку  
с капустой под названием – овощи. Второе тщательно  
выскребали из кружек, очищая их для подслащённого  
бледно-розового киселя или пустого компота – глав-  
ной нашей наслаждёнки. Завтрак и ужин тоже каш-  
ный. Утром перловка, вечером пшено или наоборот.  
Редко давали горох – вкусную хряпалку. С 1944 года  
по выходным дням иногда кормили молочным супом  
с незнакомыми до этого года макаронами.

В праздники – 1 Мая, 7 Ноября, 5 декабря, в День  
Сталинской Конституции, и 21 декабря, в день рож-  
дения вождя, выдавали нам по куску хлеба, намазан-  
ному сливочным маслом, и вместо киселя наливали

в кружки кипячёное молоко, а на ужин в суповую ложку клали по куску натурального колотого сахара. Это была песня. Всё бы ничего, но пайки были настолько крошечные, что из-за стола мы вставали полуголодными.

Человечку, жаждущему съесть чего-нибудь вкусненькое и мечтавшему об этом вслух, козявы язвительно говорили: «Тебе, малый, может, подать какаву со сливкой да булочку с марципанами?» Что такое какава — никто не знал, булочку с марципанами мы и представить себе не могли. Откуда возникла такая фантазия, да ещё в то голодное время, — неизвестно. Вероятно, кто-то из взрослых высказал вслух свою мечту, а она у нас превратилась в дразнилку.

С марципанами я познакомился спустя пятьдесят лет и то в Париже. Ничего особенного.

## ПРО МОРОЖЕНОЕ И БОГА ЗИМЫ ЕПТОНА

В 1944 году в воздухе запахло Победой. Появились смутные, но всё-таки надежды на лучшие времена. Даже у нас в детприёмнике! Осенью на одной из ночных амнистий решено было отметить Новый 1945 год мороженым. Да-да, мороженым, сделанным

в складчину всеми козявами нашей палаты. По-настоящему, что такое мороженое, никто из нас не знал. Старшие козявы смутно помнили, что оно было молочным, холодным, сладким и сытным, а если сытным, значит, хлебным. С начала зимы мы решили собирать продукты, составляющие нашу мечту. С трёх праздников – Ноябрьских, Дня Сталинской Конституции и дня его рождения – мы накопили запас сахара. Хлеб заготовить было проще, несколько дней пять кусков хлеба за завтраком, обедом и ужином делили на шесть порций, а один откладывали в тайник. С молоком сложнее. Его выдавали в обед 21 декабря. К этому дню мы стибрили у вохры пару бутылок из-под водки, вымыли их и под столом залили бутылки молоком, главной основой новогодней цацы. Так как мороженое называлось сливочным, необходимо было скопить некоторое количество сливочного масла. Его давали только в праздники, как и сахар, но, чтобы воспитанники не воровали друг у друга, масло намазывали на кусок хлеба. Мы сдвигали его передними зубами на край, к корочке, хлеб съедали, а корочку уносили в палату.

Добытое таким образом молоко и масло прятали между двумя рамами в дальнем от входа окне. Одна из рам специально открывалась вместе с приклеенными на зиму полосками бумаги. Никто и подумать не мог, что за нею тайник Деда Ептона. Кто такой

Дедушка Мороз, в ту пору мы, козявные дэпэшники, не знали, но зато про Деда Ептона – сибирского бога Мороза, который одно лечит, другое калечит, наша училка жизни тётка Машка рассказывала очень много историй. В её историях бог Ептон питался только замороженными продуктами.

В ночь с 30 на 31 декабря, в последнюю палатную амнистию 1944 года, все козявы занимались приготовлением мороженого. Порубленный на квадратики хлеб вымачивался в молоке в двух мисках, взятых напрокат у тётки Машки. Затем вымоченный хлеб со всех сторон обсыпали толчёным сахаром и аккуратно укладывали на досочки от днищ наших тумбочных ящичков. Эти подносики с заготовками ставили между рам в ептонский холодильник на заморозку. Минут через двадцать замороженные кусочки снова мочили в молоке и снова обсыпали сахаром, и так трижды, четырежды. Перед последним замораживанием одну сторону куска намазывали сливочным маслом – и продукт был готов. Работали посменно, так как замерзали – на улице свирепствовал тридцатиградусный Ептон. Готовое мороженое ссыпали в мешок, сделанный из майки. До новогодней ночи мешок с мороженым прятали там же – между окон, прикрыв от глаз бумагой. Боялись, что вохра обнаружит, но пронесло! Им было не до нас – они сами готовились отмечать Новый год.

31-го, как по заказу, бог Зимы подарил нам ясную лунную ночь. В палате было светло, как днем. В центральном проходе из пяти тумбочек мы соорудили «племенной» стол. Из заветного окна достали драгоценный мешок и отсчитали каждому пайку ржаной пацы. После объявилочки палаточным боярином Косоротом новогодней амнистии началось поедание самопального мороженого нашей козявной оравой – в честь 1945 года и в честь сибирского бога Мороза, Деда Ептона. Ни до, ни после, никогда в жизни никто из нас больше не ел такого вкусного ржаного мороженого – при свете огромной луны в белом морозном ореоле за окном.

1 января мы поздравили тёточку Машку с Новым годом и вручили ей несколько порций нашего мороженого. Разглядев подарок, главная матерщинница детприёмовского пространства впервые на нашей памяти вдруг произнесла:

– О Господи, Мать Божия! Мыкалки вы мои родные... – И заплакала.

## ПРАЗДНИЧНАЯ ЧЁЛКА

В начале 1945 года детприёмник стал готовиться к празднику Победы. В феврале из женской тюрьмы

или колонии привезли под охраной нескольких тёток. В зале Феликса Эдмундовича нас по очереди, начиная с колуп и кончая пацанами, выстраивали перед ними. Зэчки выбрали из нас разновеликих огольцов и сняли с них мерки. После отъезда обмерял на этажах пошли разговоры, что к весне нам сошьют новую форму.

Последний раз детприёмовскую банду стригли в феврале. В апреле по палатам разнёсся слух — в ближайшую стрижку нам в честь Победы оставят чёлки. Поначалу никто из нас не верил в это фуфло. Думали, что, как всегда, — берут на понт. 20 апреля объявили — следующим днём, то есть двадцать первого, под Феликсом Эдмундовичем состоится стрижка воспитанников. Двадцать одно в блатном мире цифра хорошая — значит, оставят чёлки.

Утром двадцать первого под охраной вооружённых солдат привезли четырёх зэков-парикмахеров. В зал нас поставляли поэтажно, начиная, как всегда, с мальков. Первые вышедшие от Дзержинского колупы оказались с чёлками. Значит, и мы будем с чёлками, значит, мы победили, скоро наступит мирное время и все вернёмся домой!

Уже в зале узнали, что по требованию Жабы чёлки должны быть единообразными, нас будут стричь по шаблону. Каждый, когда подходила его очередь, обеими руками держал на своей голове шаблон,



вырезанный из плотной бумаги, и стригаль ручной машинкой снимал вокруг него волосы. Наводил ма- рафет другой зэк, с ножницами. Конвейер состоял из двух зэков с машинками и двух с ножницами, из шаблонов и наших голов. Зэки-парикмахеры рабо- тали весь день до позднего вечера, не покладая рук. В ночь с 21-го на 22 апреля, впервые за все годы пре- бывания за пазухой Лаврентия Павловича, мы спали с чёлками.

На другой день весь дом от мала до велика помы- ли в бане и переодели в чистое бельё. Утром 23-го во двор в сопровождении охраны въехала крытая ма- шина. Из неё солдатики начали таскать в зал Дзер- жинского перевязанные бечевой тюки. Мы поняли — днём что-то произойдёт.

За завтраком Крутирыло торжественно объявил о замене старой одежки на новую форму. Нас по- делили пополам: колупы и козявы — сегодня, пря- мо после завтрака, шкеты и пацаны — завтра. Весь детприёмник пришёл в возбуждение — хотелось скорее посмотреть на подарок наркома Берию. Но до обеда, задержанного на полтора часа, загнанных в зал Феликса колупашек не выпускали. Форму на них увидели только в обед. Форма, как у нас говори- ли, показалась, то есть понравилась. Серая рубаш- ка с отложным воротником, чёрные штаны, ещё не брюки, но уже не шаровары, на двойной резинке,

с двумя карманами, бушлат из чёрной «чёртовой кожи» на подкладке, с внутренним карманом, как у фраеров.

Нас обрядили только ко сну. По сравнению с бывшей разнопалой одежкой теперешняя смотрелась действительно формой. В ней мы с нашими одинаковыми чёлками выглядели отштампованными изделиями могущественной государственной машины. Мешали только пуговицы на бушлатах. Они у всех оказались разными.

## ПОДАРОК БЕРИИ

На другой день тётка Машка объявила по секрету, что завтра с воспитанников будут снимать образы и что в зале под портретом Дзержинского Фемис сооружает всякие подставы и в светильники вворачивает сильные лампы. Утром 24 апреля главный воспитатель-надзиратель на всю хавалку приказал через пятнадцать минут попалатно явиться в актовый зал в полной форме. В зале под портретом козлобородого мы увидели сколоченную работным человеком двухступенчатую площадку с креслом-троном нашей начальницы. Ниже, вокруг него, стояли стулья. Слева, справа и за тронем из скамеек выставлено было

четырёхступенчатое сооружение. По центру против начальственного места возвышался солидный ящик на трёх ножках, покрытый чёрной тряпкой. Не все знали, что это фотоаппарат.

Крутирыло расставил дэпэшников по скамейкам. На самой верхней скамье стояли пацаны, а на первой посадили колуп. Во время фотографирования все должны были, подняв головы, смотреть на верх ящика, верхние ряды — стоять по стойке «смирно», а сидящие колупы — выставить руки на колени. Крутирыло больше часа репетировал с нами, добиваясь любимого единообразия, заменяя одного другим из-за разности роста или из-за не подходящих друг к другу харь. Он фитилил перед нами, как его Жаба перед своими холстами, создавая из нас нужную ему картину огромного размера с персонажами в натуральную величину. К приходу Жабы со свитой мы еле держались на ногах.

За кавалькадой семенил какой-то маленький, смешной рыже-лысый человечек, похожий одновременно на Владимира Ильича Ленина и на клоуна из книжки про цирк. При его появлении все выстроенные детприёмьши невольно засмеялись. Начальница, очевидно, подумала, что смеются над ней, и, остановившись, зло зашипела в сторону Крутирыла:

— Ш-што это за безобразие тако-о-ое, а?

Надзиратель побагровел и заорал на нас:

– Молчать! Прекратить! Смирно! – И почему-то стал лупить себя по лампасам.

Мы затихли, но оторваться от рыже-лысого уже не могли. Когда человек подбежал к ящику на ножках, мы поняли, что это фотограф. Вспрыгнув на укороченную табуретку, он засунул голову в чёрную тряпку, посуетился под ней какое-то время, затем схватил ящик, взвалил на плечо и перетащил подальше, поставив прямо в дверной проём. Тем временем Жаба с челядью устроилась на огромном помосте под портретом создателя ЧК. Лысый фотограф снова взгромоздился на табурет, залез под тряпку, снял круглый колпачок с широкой латунной трубки со стеклом и скартавил:

– Когошо, пгиготовьтесь...

Мы опять не выдержали – засмеялись. Крутирыло вновь расвирепел, бросил свой стул подле Жабы и, подбежав к аппарату, закричал:

– Чего гогочете, недоростки?! Вам комитет подарок сделал. А ну, смотрите на мой кулак!

И, выставив его над ящиком, рявкнул:

– На сигнал «пли!» всем замереть, поняли? Фотограф, приготовьтесь! Раз, два, пли!

Мы застыли. Лысый нажал на затвор.

– Ещё повторим дважды. Раз, два, пли!

На финальное «когошо!» мы не смеялись.

Два других дня смешной фотограф снимал каждого из нас по отдельности. Помогали ему кудрявые пацанёнки пятнадцати-шестнадцати лет. Судя по цвету волос – сынки. Личные фотки рыжая семья изготовила отменные.

Коллективную фотографию вывесили в актовом зале перед праздником. Выглядела она богато, и все бегали смотреть. Находили себя с трудом – уж больно одинаково были прилизаны. Самыми узнаваемыми на большой фотографии оказались начальники, особенно возвышавшаяся Жаба. В сравнении с нею дэпэшники смотрелись лилипутами одного помёта.

9 мая во дворе на торжественном построении в честь Дня Победы нам в качестве подарка от Лаврентия Павловича выдали по одной личной фотографии в треугольном армейском конверте. Эти фотки стали первой собственностью каждого из нас. Мне удалось свою сохранить и пронести через годы мытарств.

Когда в августе месяце я бежал из детприёмника в родной Питер, в лацкане моего бушлата была зашита фотка, а в карманах шаровар находились два мотка медной проволоки. Один для профиля Сталина, другой для профиля Ленина. Мои проволочные вожди помогли мне выжить, но это уже другая история.



*Часть 2*

## ПРОВОЛОЧНЫЕ ВОЖДИ

*Я без дома, без гнезда,  
Шатя беспризорная.  
Эх, судьба, моя судьба,  
Ты, как кошка, чёрная...*

*(Сиротская песня)*

## ПОБЕГ

В начале августа 1945 года я со своим однопалатным дружкой Петрухой Медным Всадником бежал из чёрнолучинского детприёмника от начальницы Жабы. Бежали на продуктовой барже вниз по Иртышу в город Омск. Там мы вышли к запасным путям железнодорожной станции и наткнулись на вагон пирующих дядек, одетых в военную форму, видать, блатных главарей целого состава зэков-уголовников, которых везли на японскую войну. С голодухи прибились к ним, но вскоре по их повадкам и фене я понял, что снова надобно бежать — мы представляли для них жопный интерес. Под предлогом «сходить по нужде» я смылся, а Петруха, любитель поесть, отказался идти со мной, и что с ним произошло далее — не ведаю.

Из Омска на запад, к Уралу, было две ветки: одна — в сторону Свердловска, северная, другая — на Челябинск, южная. Я не выбирал, даже не знал, какая для меня выгоднее, и попал на челябинскую ветку. Забравшись на платформу с пустыми контейнерами, рванул с испугу несколько перегонов до станции



Исилькуль, где состав поставили на запасной путь, и мне пришлось вылезти из своего укрытия. Конечной целью моей был не Челябинск, а далёкий Питер, отправился я в него в новой казённой, сшитой ко Дню Победы тюремными зэчками форме. В карманах моих шаровар лежали стибреннная ложка, небольшая заточка, рогатка, изготовленная собственноручно в детприёмовские ночные амнистии, и два мотка медной проволоки, аккуратно на два профиля — товарища Сталина и товарища Ленина.

Искусство выгибания профилей наших кормчих, которое я освоил в детприёмнике, спасало меня от голодухи в течение всего шестилетнего пути по станциям, городам и посёлкам, по детприёмникам и колониям от Сибири до Ленинграда. На вокзалах, в ресторанах, столовых, буфетах, на базарах, рынках победивший в Великой Отечественной войне фронтовой народ не мог отказать голодному пацанку в жратве, тем более за выполняемые на их глазах из медной проволоки профили любимых вождей, в особенности генералиссимуса.

В эти бурные переселенческие месяцы 1945 года по мере движения к Уралу я всё больше и больше знакомился с совершенно особым миром железной дороги. Со стороны Урала на японский фронт двигалась огромная военная армада. Туда шли бесконечные эшелоны теплушек с солдатами и платформ

с танками, артиллерией и другой техникой, под брезентом и без. В Сибирь с Отечественной возвращались запоздавшие из-за лечения в госпиталях обрубки с зашитыми культяпками рук, ног, обожжённые, с покалеченными, щербатыми от ран лицами солдаты и офицеры – живые документы войны. Каждая станция, полустанок встречали их ревущими бабками, они разбирали своих, кровных, родных сражателей и развозили по домам.

## КАРТИНКИ ПАМЯТИ

Рестораны крупных станций выставляли прямо на перроны столы и стулья, и перед самым прибытием пассажирского поезда официантки наливали из кастрюль в белые суповые тарелки горячий свекольный борщ, мечту желудка. Буфетчица тем временем шустрила вокруг кружек с пивом, наполняя их, отстаивая пену и снова подливая золотистый напиток.

Подошедший поезд выбрасывал из себя голодное человечество в гимнастёрках и кителях. Оно мгновенно заполняло перронный ресторан, и начиналось племенное поедание родного блюда, сибирского борща. Слышны были только просьбы-приказы:

«Девочки, ещё одно пиво, дорогие, добавьте борща, красавицы, два самых больших пива и солонку». Фронтовые инвалиды всех мастей в кружку пива перед питьём бросали щепотку соли. В кружке происходил взрыв — резко поднималась пена, и пьющий исчезал в ней, жадно глотая золотистую сладость жизни. Некоторые, особо изошрённые, посыпали солью края кружки и, вращая её, пили пиво через эту соль. Мне казалось, что этим покалеченным войной людям не хватает соли для восстановления утерянных частей тела.

Офицантки пользовались огромным успехом у оголодавшей по женской ласке фронтовой братии. Каждый старался хотя бы прикоснуться к нафуфыренному женскому чуду и назвать женщину уменьшительным ласковым именем.

Почти из каждого состава, приходившего с запада, кто-нибудь из военных выносил на перрон баян, а чаще трофейный аккордеон и одаривал пирующих «Катюшей», «Землянкой» или «Тремя танкистами». А сверху, со стены вокзала, с огромного портрета взирал со своей послевоенной улыбкой на победивший народ великий кормчий, генералиссимус в белом маршальском мундире при всех регалиях.

На стенах ресторанов, в залах ожидания висели бесконечные вариации шишкинских «Мишек», куинджиевских «Берёзовых рощ», перовских «Охотников

на привале», выполненные неполным набором красок неизвестными старателями.

Вокзалы, перроны, привокзальные площади и пространства вокруг них в городах и городишках по всему пути следования эшелонов были забиты разномастной людвой всех возможных в России национальностей, говоров, возрастов, мастей и чинов. Сидели на чемоданах, ларях, корзинах, спали на мешках и бог знает на чём и как. Весь этот человеческий рой галдел, шумел, храпел, жевал, шелестел, спорил между собой, смеялся, ревел – одним словом, жил-торопился в ожидании своих поездов. На этом «базаре» можно было услышать всё что угодно. Одна баба жалилась другой:

– Да совсем я обезглавилась, поначалу мужика, после – старшего, среднего, а в сорок четвёртом младшего сына забрали на фронт. Не помню, совсем не помню, помню, что похоронка, похоронка, похоронка... Последней не было, вот и хожу встречать. Бог даст – хоть одного дождусь.

В кучке сильно поддатых типарей какой-то мохнатый дед, обращаясь к огромному верзиле, рассуждал:

– Если украинец – не хохол, русский – не москаль, поляк – не пшек, то, значит, я – еврей, но не жид. Слышишь, это тебе говорю я, Евсей, ты понял, а?

– Молчи, Еся. Глотанул ты лишнее и кумысишь, не пори муйню, не сотрясай воздух, – по-отечески сказал деду огромный беспалый разбойник.

На вокзальной скамейке ласкательная тётка шелестела вокруг своего мужа-обрубыша, говоря рябой холостой бабе-завистнице:

– Ноги-то пускай, главное, чтобы кляп действовал, для бабы-то без кляпа хуже, что гладь, что гладью вышивать – одно и то ж. Он у меня говорит мало, зато рукастый, у него всё ладно. Да безногий-то не сбежит, а говорить я буду. За три дня на попутных за тобой примчалась, торопилась. Ах ты, Боже ж ты мой, Боже ж ты мой, – комунис, партаец, а безногий. Начальники с колхозу за тобой машину обещали. Дых ты мой, полюба моя. А ты чего слушаешь? Я на него жалоблю, ты ж ни при чём.

– Вместо любви накормила бы его. Вон человек ртом глядит, ничего не слышит.

– Не бойсь, не бойсь, накормлю, целу корзину навезла, и самоход есть. Дочуха у нас с ним выросла, тож пирога спекла. Он у меня рукастый, всё делать может, а вместо ног колёса поставим. Правда, Васечка? Ах, ты мой окоянтовый!

– Клава, Клав, налей чарку-то, душа просит, слышь, душа просит! Клав...

В эту гурьбу людей каждый день добавлялось приходившее к поездам бабье разного возраста. Чтобы

просто поглазеть, посочувствовать, позавидовать — кто, что, зачем, почему... За неимением «кина» они отсматривали кино жизни. Большинство не по делу, а так, поглядеть на проезжающих военных мужиков, поучаствовать в радостях по случаю возвращения фронтовика в свой край родины. Да просто на авось, авось кто-нибудь из проезжих одарит их своим хотением, своей сказкой.

### МАТЕРЬ БОЖЬЯ...

Из разных картинок память глаз моих удержала одну совсем неожиданную. Высмотрев в окне вагона голову своего мужика, молодая крепкая сибирячка вскочила на подножку ещё не остановившегося поезда и, растолкав гроздь солдат в тамбуре, понеслась внутрь. Через некоторое время после остановки состава она, красивая, черноглазая, появилась в дверном проёме вагона, держа на руках, как ребёнка, совсем безногого, однорукого обрубка в тельнике. Он, обняв шею носительницы единственной рукой, смотрел на неё своими синими виноватыми глазами и басил ей:

- Прости меня, Нюша, не уберётся, не убёрегся...
- Матерь Божья, Матерь Божья, Иисус Христос! —

крестясь, завопила, глядя на них, всегда пьяная бабка-побирушка и рухнула перед вагоном на колени.

Толпа онемела.

Двое военных мужиков бережно сняли с подножки вагона «Божью Матерь» с её ношею и выставили на перрон. Черноглазая бабёнка, шагнув в расступившуюся толпу, понесла своего обрубленного христосика сквозь людей, ревя и хохоча радостью одновременно. Кто-то выдохнул:

– Война...

## ПЕРВАЯ ПАЙКА

Попав в Исилькуль и сильно оголодав в дороге, я по забитым военными составами путям стал пробираться к вокзалу в надежде добыть еду. Солдатики из встречных открытых теплушек заметили и окликнули меня:

– Эй, малёк, что здесь бродишь?

– Да к станции иду, еду хочу заработать.

– А как ты, шкет, её зарабатываешь?

– Художеством.

– Каким таким художеством?

– Профиля вождей выгибаю.

– Что? Как так – выгибаешь? А ну покажи!

– Покормите если – покажу.

– Покормим, покормим, не бойсь.

Я остановился, вынул из правого кармана шаровар сталинскую скрутку проволоки и у них на глазах стал выгибать из неё вождя. Пока я работал, солдаты молча следили за моими руками. А когда сделал и показал, они признали, что Сталин абсолютно похож, как на медалях, и наградили меня хорошей пайкой – почти полной буханкой хлеба и шматом вкусного сала.

– Откуда сам-то?

– Из Ленинграда, с маткой домой возвращаюсь, только она заболела, и мне добытчиком пришлось стать.

Вечером в столовке недалеко от станции удалось ещё подработать. Запасшись едой, ночью я проник в шедший в Курган пассажирский поезд и уснул на верхней багажной полке общего деревянного вагона между корзинами, чемоданами, тюками. Так продолжался мой бег из Омска на запад – бежал я только на запад.

## ПОБЕГ ОТ ЧЕРНОМАЛИННИКА

Утром проснулся от шума. Внизу в вагоне шёл шмон. Милицейский железнодорожный патруль



совместно с поездными лагашами\* чистил поезд. Мне чудом удалось перебраться по третьим полкам между потолком и трубами, разделявшими купе, в уже проверенную часть этого старого вагона, а на остановке, спустившись по торцу в проход, выйти на перрон вместе с пассажирами. Станция оказалась довольно большой, и я решил на ней задержаться. Свой день я провёл в любопытстве. Сходил на местный базар и там застрял около дядьки, вырезавшего из чёрной бумаги силуэтные профили прямо с натуры, да так ловко, что я здорово позавидовал ему. Вот бы научиться такой ремеслухе! Ночевал на вокзале в зале ожидания, пристроившись между двумя семьями с детьми, спал, спрятав голову в бушлат. Моё незлобивое лицо и чёлка, подаренная Лаврентием Павловичем на День Победы, делали меня домашним, и я не вызывал особых подозрений у вокзального люда. А коли кто спрашивал, откуда на вокзале один, врал: «Мамку врачи лечить забрали, мне деваться-то некуда, мы нездешние, в Питер возвращаемся». Многие жалели и подкармливали, как своего родного.

Утром при попытке сесть во второй вагон пассажирского поезда, следовавшего в сторону Урала, я по неопытности попался в лапы чёрно-малиновой железнодорожной милиции. В отделении снова врал,

---

\* *Лагаш* — здесь: кондуктор, проводник (*блатн.*).

что по дороге из Новосибирска моя питерская бабка умерла и я без неё пытаюсь вернуться на родину. На второй день молодой легавый повёл меня в столовку (в милиции задержанных кормили раз в день). Столовая, где накануне я зарабатывал профилями, находилась в просторном деревянном доме с залом, сенями и крыльцом. Когда мы поели, я попросился в уборную. Милицейский парень, размягчённый едой, отпустил меня, а сам, вынув папироску, остался курить на крыльце, откуда деревянная будка была видна. Сортир своим задком примыкал к соседнему заборишку. Когда я открыл дверь и увидел перед собою в задней стенке над толчком прорезанное в тесе окошечко — сразу понял: в него я помещусь, надо рвать когти. Уж больно мне не хотелось снова свидеться с Жабой и Крутирылом. Через соседний заросший участок, пригнувшись, попал на боковую улицу и по наитию или как — сам не могу объяснить — двинул не в сторону посёлка, а на «железку», к товарнякам, куда приехал два дня назад. Забравшись под брезент, закрывавший самоходку, проспал с испугу под ним весь оставшийся день. Этот манёвр меня спас: меня явно искали в посёлке, а не у военных, среди техники. Снова я ушёл между рук, оправдав свои детприёмовские кликухи — Тень и Невидимка.

После этого случая я смекнул, что на больших станциях, где есть вокзальная милиция, садиться

«зайцем» в первые вагоны или выходить из них опасно. Наряд легавых обычно пасётся в начале состава. Лучше обойти поезд и на перрон выйти с его конца. Но в последний вагон тоже не следует влезать, там кондуктором держат специально науськанного на майданников\* мужика. Что я вскоре и почувствовал на собственном загривке.

✓ Ночью мне удалось подсесть на медленно двигавшийся в мою, западную, сторону товарняк. На нём я доехал до следующей узловой станции.

## НАСЛЕДСТВО СКАЧКА

Мой пустой товарняк опять загнали в тупик, и я отправился в сторону вокзальной площади, где стал свидетелем ловли поездного вора. Вернее, двух скачков, но на моих глазах пойман был только один. Пять переодетых ментов гнали двоих парней от перрона по станционной площади и улицам, веером расходящимся от неё. Воры, добежав до улиц, разделились. Трое ментов погнались за правым от меня воров, двое – за другим, по соседней улице. Троица нагнала парня. Из-за кустов, где я ныкался, было видно,

---

\* *Майданник* – поездной вор (*блатн.*).

как он, особым образом, по-воровски, упав на землю и перевернувшись через голову, перебросил ногами одного из преследователей, но двое других обрушились на него и не дали подняться. Когда он кувырнулся, я заметил, что из него что-то выкинулось и упало в траву. Легавые в кутерьме этого не увидели. Потом, после увода вора на станцию, я, пошарив в траве, нашёл две перевязанные бечевой поездные отмычки. Много позже я узнал, что обнаруженные при обыске ключи или отмычки от вагонов удвоили бы срок пойманному скачку. Второй вор, вероятно, смылся от преследователей – больно ловко он перескочил через высокий забор частного дома. Так я стал наследником двух вагонных отмычек, и они помогли мне выжить. Пользоваться ими надобно было осторожно, не показывая их никому, со временем я сшил для них мешочки с вязками и привязывал его к ноге.

## МОЙ КЕНТ\* МИТЯЙ

На перегоне от Кара-Гуга до большой узловой станции Асаново в пассажирском поезде Омск–

---

\* *Кент* – друг (*блатн.*).

Челябинск, составленном из старых, допотопных вагонов, набитых битком разношерстным переселяющимся народом, я встретил своего поделеньника в дальнейшем путешествии до Урала и первого за жизнь дружка, которого полюбил сиротским сердцем, как родного брата. Познакомился я с ним в месте совсем неожиданном, вернее, нас познакомили — в поездном отстойнике, тамбуре. Чёрт меня дёрнул забрести с моими профилями в последний вагон, к тому времени я уже знал, что это опасно. Там меня сцапал свирепый лагаш-кондуктор и за шкварник оттащил в задний тамбур своего вагона, в поездную предвариловку. Засунув меня в тёмный, с обитыми металлом дверьми, каземат на колёсах, он прорычал:

— Вот тебе дружок, знакомся. Вас, побирушек, парюу на ближайшей станции сдам в линейную службу, ждите.

Как только проводник щёлкнул замком, я пацанку сказал, что у меня есть отмычки от поездных дверей и мы успеем смыться. Когда поезд подойдёт к станции, откроем дверь, вылезем на ступеньки, а как затормозит, спрыгнем — и тикать.

— Не смогу я спрыгнуть...

— Да что там, это просто и нестрашно, вагон-то последний, как на перрон зайдёт, сразу и прыгай.

— Я слепой... Я Митька-слепой, прыгать не могу.

После его слов, привыкнув к темноте, в щелевом свете я с трудом разглядел, что лицо пацана было изуродовано. В левой яме-глазнице глаза не было, из правой под шрамом, спускавшимся со лба, что-то торчало.

— Что он тебя, гад, не пожалел-то? За что сюда запер?

— За пение, я поесть просил и пел. Прошёл все вагоны, никто не трогал, даже вот хлеба дали тёленьки-проводницы, а этот — за шкварник и сюда.

— Вот паразит какой! Но ты не бойсь, мы его объегорим. Как поезд затормозит, я открою наружную дверь, спущусь на нижнюю ступень и помогу тебе, за руку возьму. Побежим за вагон и спрячемся за дальними составами. Я уже опытный. Главное, чтобы он раньше не вышел. Давай в замочную скважину что-нибудь засунем.

— А как тебя зовут? — спросил слепенький.

— По отцу Степанычем. Дай-ка я кочегарку обшарю, может, там есть что подходящее. Да если и углём забьём дырку для ключа, то, пока он силится, мы смыться успеем. А ещё я попробую дверь снаружи закрыть, тогда этот гад балданётся. Митька, ты не местный?

— Нет, я с Новгородчины.

— Во здорово! Вместе добираться будем. Я ведь из Ленинграда — рядом. А как в Сибирь попал?

— Когда эвакуировались, поезд наш немецкие самолёты порушили. Мать с братиком младшим погибли, а меня, видишь, поранило. В живых осталась тётка. Она-то в Сибирь меня и привезла. Под Новосибирском жили. Поначалу всё ничего — кормила. Потом, к концу войны, с милиционером повязалась и стала куском попрекать. Присосышем обозвала. Я и ушёл. На базарах стал песни петь, у людей в сенях жить. Сейчас война кончилась — решил до дому податься. Там дедка с бабкою оставались, может, ещё живы. В Новосибирске один нищий дед вагонным песням меня обучил. Поводырём навязался, все деньги себе забирал и пропивал. Убежал от него. Правый глаз мой чуток видит, подумал, не оступлюсь. Подавать за работу стали больше. А ты чем кормишься?

— Да я художничаю. Из проволоки профиля вождей делаю прямо на глазах. Фронтovým дядькам нравится — кормят, иногда и денег дают.

— Вот-те нате! А как ты делаешь?

Я достал проволочную скрутку генералиссимуса и через некоторое время протянул ему профиль. Он стал шупать его, приговаривая: «Молодец, во молодец, как здорово!» — и вдруг предложил мне:

— Степаныч, а что, если мы с тобой вдвоём ходить будем? Ты выгибать вождей станешь, а я петь про них, а? Давай попробуем. Я про Сталина три песни

знаю. Вдвоём легче и безопаснее, а то ко мне всё время нищая братия пристаёт, вон прошлую неделю чуть не покалечили. Хотят, чтобы я на них работал.

— Ничего, Митяй, у меня на них рогатка есть, можем и сами покалечить.

На остановке мы удачно смылись из тамбурной тюряги. Завернув за наш вагон, нырнули под стоящий военный состав, затем под другой и оказались на вольной стороне станции, где кроме каких-то амбаров ничего не было. Пошарив глазами по путям, я на крайней колее увидел пустые теплушки, не раз уже выручавшие меня. Мы с Митяем побежали к ним и в одной из них притырились. Необходимо было до ночи переждать, не высовываясь. Кондуктор наверняка поднял шухер. Описал нас станционным начальникам. Служки начнут шарить по всем путям. Слава Богу, что смеркается, ночью в темноте сложнее будет нас искать.

Через несколько минут мы наконец услышали, как забухали щиты буферов, и наш злосчастный поезд отвалил со станции. Пока окончательно не стемнело, мы решили пошамать в складчину. И наш братский ужин получился на славу. Его хлеб с моим солдатским салом и с его варёной картошкой в капустном листе украсили остаток нашего опасного дня. От сытости и нервной усталости мы вскоре ослабели и уснули на остатках соломы.



Проснулись от грохота: наши вагоны куда-то перетаскивали. Я выглянул наружу — нас присоединили к такому же пустому составу теплушек и платформ. Минут через сорок вся эта громадина на колёсах, к счастью, двинула на запад. Я уже знал к тому времени, что пустые поезда более двух-трёх перегонов не идут. Их пропускают в свободное время, пока нет военных составов, которые гонят на восток. На следующей остановке нам необходимо где-то отсидеться, чтобы про нас забыли на этом участке дороги.

Приближалась середина августа. Было тепло. Мы проезжали лесостепную зону. Всё чаще встречались казахские стойбища. От цикад и фантастических запахов ночной степи с непривычки кружилась голова.

## НЕЛЮДЬ

По дороге Митяй рассказал мне жуткую историю про ватагу богодуев\*, которая силком прибрала его к рукам в городе Омске и хорошо на нём зарабатывала, а грóши пропивала, поколачивая его за просто так. Им показалось мало, что он слепой и

---

\* *Богодуй* — нищий (*блатн.*).

с изуродованным осколком лицом. Чтобы ещё более жалобить подающих, они решили отрезать ему правую руку. Ему повезло, он случайно услышал их сговор. В это время мимо колхозного овина, где ночевала братия нелюдей, по дороге на станцию катила телега – мужик вёз к утрешнему поезду жену с дочкой. По звуку Митяй смекнул, что кто-то едет. Ему в темноте удалось выскользнуть из рук бандитских побирушек и добежать до телеги. Схватившись за оглоблю, он закричал:

– Дяденька, дяденька, забери меня с собой, не то они порубят мне руку! Я Митька-слепой, спаси меня, спаси!

Поначалу возница ни фи́га не понял. Затем, увидев, как вцепившегося в оглоблю мальчишку отдирают двое каких-то шаромыжников, сообразил, что дело серьёзное. Достал из соломы берданку, припрятанную там на всякий плохой случай, и пальнул в воздух для устрашения. Типари отзынули от Митьки, но стали кричать, что он их племянник, и требовали отдать им его.

– Не отдавай меня, дяденька, я им не племянник, не отдавай! Они мне руку рубить станут! Они под низих косят, водку пьют и меня побивают. Им мало, что я слепой, покалеченный, так пуще хотят...

– Перестреляю сук кромешных, пададь отхожую, как фашистскую сволочь! Я сам с костяной ногой.

Вишь, малый, с сорок второго вместо ноги деревяшка торчит.

Мужик бабахнул из винтовки в темноту второй раз. Типари бухнулись на дорогу и отползли в кювет.

Нищенская мразь могла сделать с Митькой всё что угодно: выколоть глаза, вырвать кусок носа, губы, отрубить руку, ногу, язык, чтоб не говорил, а только мычал, и, посадив в коробку это несчастное страшилище, таскать его по городам и весям, вынимая из людской жалости и доброты последние гроши.

Мои ангелы-хранители спасли меня от такой падали. Но на пути своём я нагляделся на эту людскую развратную гниль, которая охотилась на детей, «како на зверей», воруя их, насилая, а затем уродуя с лютостью и дьяволам не свойственной. Братия эта страшно труслива. На одной из станций по пути в Челябинск две нищие бабки, прикинутые под монашек, положили свой жадный глаз на Митьку и начали оттаскивать его от меня:

— Поводырями тебе будем, кормить и холить станем, паном сделаем, жизнь облегчим. А ты, тощий, отзынь отсюда, не мешайся, не то прикончим! — И показали мне заточку.

Я, расsvирепев, закричал:

— Не трожь его, суки-тётки, не то взорву вас гранатой — разлетитесь, кусками рассыплётесь! — И, выхватив из сидора тёмно-коричневую бутылку с водой,

пошёл на них. Они бросились бежать. В другой раз, тоже за Митьку, наглому, отвратительному дедке всадил из рогатки проволочную пулю в челюсть. С тех пор при нашем появлении он мгновенно смывался.

## ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

Через три перегона наш громыхающий состав пустых теплушек остановился на запасном пути какой-то лесостепной станции. Мы проснулись от тишины. Было утро. Все пути оказались забиты таким же порожняком, как и наш. Мне и Митьке необходимо было незаметно выбраться из вагона, не попав на глаза железнодорожным людям, и исчезнуть дня на три-четыре. Отодвинув вдвоём тяжёлую дверь, мы с ним спрыгнули на землю и под своим же вагоном пролезли на обратную сторону. Таким же образом прошли ещё несколько составов. Оказавшись за путями нашей станции, я увидел в полукилометре от дороги излучину реки, а за ней рощу или лес. Нам снова повезло – можно было вымыться, даже искупаться и, главное, отсидеться на всякий случай, чтобы потом, заработав еду, двинуться на наш запад. Дойдя до речки, я увидел за её излучиной какое-то заброшенное строение, поставленное почти над водой, и остатки

забитых в воду старых деревянных свай, перекрывавших всю речку. Таких сооружений я не видывал никогда. Митяй по моему рассказу предположил, что это старая мельница. В её запруде мы решили перво-наперво искупаться, затем исследовать мельницу на предмет возможной ночёвки. В полдень на купание яришло местное пацаньё. Нам они не удивились. Только спросили:

– Вы с поездов?

– Да, затормозили нас.

– Это обыкновенно. Бывает, что составы неделями стоят.

От них мы узнали, что на этом месте когда-то находилась деревня, но уже давно переехала к станции, за вокзал. Одна мельница осталась. Про лес сказали, что он очень большой и поднимается по реке вверх на север и что в нём когда-то даже волки водились.

Спали мы на чердаке мельницы. Рано утром проснулись с испугу. В пустой проём окна влетали одна за другой какие-то страшные чёрные крылатые тени и исчезали в сумраке высокой чердачной крыши. Поначалу я подумал, что ещё сплю и мне снится странный, фантастический сон. Я попытался его сбросить с себя, но не смог. Вот-те нате: не проснуться, а они всё влетают и влетают. Я навалился на спящего Митьку и начал трясти его, приговаривая:

— Посмотри, посмотри, что это? — забыв, что он незрячий.

— Чего ты меня тормошишь, я ведь, кроме кусочка света, ничего не вижу, — возмутился просыпающийся Митяй. — Бабка моя деревенская рассказывала про каких-то летучих навий, а кто твои летучки, я не знаю.

Только днём от местного пацана мы услышали, что это летучие мыши и что людям они не опасны, а живут здесь с давних времён, на чердаке мельницы. Ночью охотятся на насекомых, а днём спят, прикрепившись крыльями-лапами к стропилам крыши.

Запасов еды нам хватило на три дня. Три дня мы спали, купались, загорали и готовились к нашим общим выступлениям. Важно было мне приноровиться выгибать профиль вождя к концу его песен, не раньше и не позже. Наконец у нас всё стало получаться.

## ПОЛОЖЕНО – НЕ ПОЛОЖЕНО

На четвёртый день нам пришлось идти на станцию зарабатывать хлеб. Станция оказалась довольно большой, с рестораном на вокзале и выносом столов на перрон. За вокзалом была довольно обширная площадь, сплошь заполненная машинами, подводами,

людьми, прибывшими встречать или провожать своих фронтовиков.

Первое совместное выступление мы устроили на этой вокзальной площади и имели успех. Меня впервые на добавку люди попросили согнуть профиль Ленина, а Митьку – спеть «Катюшу» – и были очень довольны. Накормили нас и собрали целый узел еды. За два дня работы на станции мы превратились в местную достопримечательность. Пацанье, купавшееся на реке, хвасталось всем знакомством с нами.

На следующий день мы попытались выступить на платформе станции и чуть было не попались в лапы железнодорожной милиции. Буфетчица перронного ресторана знала про нас от прилипших к нам пацанов и разрешила работать между столиками. В середине дня на станцию прибыл с запада очередной пассажирский поезд и выбросил на перрон партию голодных военных людей. Питие пива и поедание борща началось. Я вынул из кармана бушлата сталинскую скрутку проволоки, распрямил её и обратился к уже ощутившему вкус пива мужскому человечеству:

– Дорогие народные спасители, товарищи военные солдаты и дядечки офицеры, разрешите за малое кормление спеть вам о вожде товарище Сталине и показать его в профиле.

Митька запел своим высоким голоском, подняв к небу порченную осколками бомб голову:

Сталин – наша слава боевая,  
Сталин – наша гордость и полёт...

Только я начал выгибать нос генералиссимуса, как вдруг на перроне возник чёрный мундир железнодорожного легавого мухомора. Натянув на лбину свою фуражку с малиновым верхом, он пошёл прямо на нас. Митька пел:

С песнями, борясь и побеждая,  
Наш народ за Сталиным идёт...

Я дошёл до подбородка вождя. Легавый остановился между столами против нас, раздулся красным пузырьём и заорал:

– Прекратить! Не положено, я кому говорю!

Армия за ближайшими к нему столиками поднялась, и раздался голос дёргающегося от контузии старлея:

– Это что?.. Петь про вождя не положено?.. А по... пятьдесят восьмой... статье... знаешь, что положено?!

И он посмотрел на легавого мухомора своим единственным свирепым глазом. Другой военный, важнее чином, велел тыловой крысе срочно отползти подальше от греха, что тот мгновенно и сделал.

Мы с Митяем исполнили перед армией всё до конца, но поняли, что, как только поезд тронется,



нас заберут в кутузку, поэтому перед самым отходом состава нам пришлось прыгать с перрона и бежать через пути на другую сторону станции, чтобы не попасться на глаза нашему легавому.

Следующим утром к нам в логово на мельнице прибежали два уже знакомых нам местных шпанёнка и сообщили, что вчерашним днём на станции нас искала милиция и даже спрашивала, не знает ли кто, куда мы пропали.

Во как! Значит, опасения были не случайными. Придётся снова залечь на дно. Пожалуй, с мельницы необходимо смыться. Пацанов попросили говорить всем, что видели нас на подножке отъезжающего поезда, только с обратной стороны.

Забрав с мельницы свой скарб и еду, мы двинули в лес, чтобы прокантоваться там три-четыре дня, а затем вернуться ночью на железнодорожные пути и, snyкавшись в очередном пустом товарняке, отвалить в Челябинск.

## ЛЕСНЫЕ ВОЛКИ

Поднявшись вдоль реки по заросшей тропе, часа через полтора мы вышли на окружённую высокими деревьями крошечную поляну, возвышавшуюся над

рекой. На ней обнаружили яму с остатками кострища. Место было удобным, и мы решили остановиться. Да и устали порядочно. Митька, пошарив в костровой ямке, обнаружил в углях несколько ещё тёплых печёных картофелин. Эта находка нас не испугала, наверняка здесь рыбаки гужевались. Чуть подалее, в кустах, я увидел ладный шалаш. Смотри-ка ты – целое стойбище. Уходить с этого места никуда не хотелось, да и сил не было. Наступал вечер. Будь что будет. Поужинаем и переночуем, а утром решим, как быть. Не Бармалеи же здесь живут и явно не левые. Митька стал доставать и раскладывать на косянке еду, а я, наломав сушняка, побросал его в яму с намерением разжечь костёр последними, драгоценными спичками.

И только я опустился на колени и нагнулся, чтобы запалить ветки, как из-за кустов со стороны реки возникли две людские торчилы в длинных ветряках с капюшонами, в сапогах, один из них был с палкою. Мы поначалу застыли с испугу и вылупились на них. Кто такие? Фараоны-начальники или разбойники-тати, лешаки таёжные? Наконец один из них, который ниже, узкоглазый, плосколицый, сказал с каким-то незнакомым выговором:

– Огонь не любит беспорядок. Костёр надо хорошо сложить, потом жечь.

После этих слов мы, как собачонки, почувствовали нутром — дядьки хотя не как всякие, но не обижают, бояться нечего.

Я, осмелев, спросил:

— А вы, дядьки, что, из вохры?

— Откуда взял, что мы из вохры? — сердито ответил вопросом высокий.

— Они в таких же плащах у вагонов ходят, охраняют.

Дядьки переглянулись.

— А может, вы рыбою кормитесь или лесом? — продолжал спрашивать я.

— И лесом, и бесом. Считайте, что мы лесники, хватит вам! — ответил высокий. — А сами-то, шкеты, как здесь оказались? Почему одни в этих краях?

— Пересидеть бы надобно, мы беглые. На станции за нами черномалинники охотятся. Да и раньше из-под замков бежали.

Я рассказал про все наши приключения: как мы из тамбура от злого лагаша смылись, и как на станции нас спасли от милиции военные, и что за нами охотятся, на всю станцию объявили, что два бродячих пацанка из рук смылись, один из них слепенький. На мельнице прятались, но про неё лагаша тоже узнали, оттого мы сюда бежали. Переждать опасность, а потом на товарняк и...

— Смотри, какие опытные, всё рассчитали.

Узкоглазый сбегал с котелком за водой и, вынув мои ветки из костровой ямы, мгновенно сложил новый костерок и так же быстро от удара каких-то камней запалил жгут, а от него раздул огонь.

— Во, интересно! Такого я ещё не видел, — изумился я.

Разжигая костёр, он всё время повторял:

— Беглая, беглая, вот-те нате, беглая шкета. Не бойся, милисия не дадим. — И стал гладить слепенького. — Ему что, стрелял?

Я рассказал им историю Митьки.

— Фу ты как, на тебе, а! Зверопад какой!

Узкоглазый достал из своего обширного сидора кусок плиточного чая и, завернув в тряпицу, разбил его между двух камней.

— Китайская чая, казаха принесла, пьёшь — веселишься! А я — хантый, знаешь, кто такие? Нет? Лесные человеки.

— Ты костришь здорово.

— Хочешь, учу?

— Обучи.

— Хорошо, чай пьём и учим, сегодня учим, завтра учим. Чай слепеню первому дадим.

Он насыпал битого чаю в кружку, залил его кипятком, помешал окорённой веточкой и вместе с куском хлеба, покрытым салом, протянул моему дружку:

– Пей, Митяй, китайская чая – хорошая. Что – горькая? Фу-ты ну-ты, чая – горькая. Пей, привыкай, жизнь горькая, а чая – вкусная.

После чая началось обучение складыванию костров.

Я попытаюсь своими словами пересказать уроки, данные мне шестьдесят лет назад в пограничном со степью лесу недалеко от Северного Казахстана.

Первое, что ты должен знать, – огонь солнцу подчиняется. Дерево от комля к солнцу поднимается. Огонь тоже от комля горит быстрее. Когда берёшь в руки сучок, ветку, полено – смотри, где у него комель. Второе: необходимо найти запал, особенно в непогоду. Хороший запал для разжигания огня – береста. Другим запалом служит хостяк – сухие веточки ели. Они всегда есть под нижними лапами густой ёлки. Хостяк-подлапник сомнёшь в шарики – и всё готово. В дождливую погоду это – порошок для костра.

Костры выбирают в зависимости от надобности и погоды. Самый простой и быстрый – хантыйский, костёр-колода, в Сибири его называют воровским, потому что горит без дыма. Вода в котелке на нём закипает через четыре минуты.

Перед тем как поставить колоду, необходимо соорудить основу костра – из толстых веток, не обязательно сухих. На основе выложить колоду – от

комля по движению солнца, тогда огонь будет крутиться вокруг котла. Нижний ряд колоды — из толстых веток, верхние — из более тонких. Внутри вложить запал. Когда запал подождён, поверх него надо, не торопясь, класть под углом друг к другу небольшие ветки, пока огонь не займётся.

Лесные люди умеют складывать такой костёр для обогрева шалаша или палатки, который после растопки горит сам пять-шесть часов подряд без ухода за ним, причём сырые дрова тут даже предпочтительнее. Под этот костёр копают конусообразную яму, а поленья ставят комлем вниз, по кругу. Самые сырые и крупные — снаружи ямы, а к середине — ряды посуше. В центре выкладывают гнездо из сухих веток, опускают туда запал и поджигают. Такой костёр горит не торопясь, сам себя сушит, а огоревшие снизу поленья сползают по конусу к огню. Если такой костёр развернуть под углом к ветру, то всю ночь он будет греть палатку или шалаш и отгонять комарьё.

Хантый показал нам, как правильно выбирать места для стоянок в лесу, чтобы земля не тянула, оставалась бы сухой, и как ставить шалаш по солнцу — чтобы утром солнце было в головах, а к вечеру — в ногах.

От него мы узнали, что надо выискивать муравейники — муравьи выбирают самые безвредные

для живого организма, сухие, без тяги, места. Шалаш можно ставить рядом с муравейником, главное, не разрушать муравьиные дороги жизни. И тогда в шалаш или палатку никогда не заползёт змея, не заберётся ни один клещ. Эти гады опасаются приближаться к муравьям.

По поведению птиц, муравьёв, пчёл и другой живности лесной человек может понять, какая будет погода, распознать близость жилища, приближение людей, появление опасности и многое другое.

— Под руководством Хантыя я по всем правилам лесной науки собрал и сплёл непромокаемый шалаш, издали напоминающий ярангу.

В прохладные вечера дядьки поверх рубах надевали на себя жилеты из козьего меха. Такой одежды я никогда раньше не видел. Прямоугольный кусок козлиной шкуры с разрезом для головы и пришитыми вязками по бокам. Когда они заползали в шалаш спать, то жилеты снимали и стелили под себя, мехом наружу. Хантый, заметив, что я с интересом разглядываю их одежку, сказал, что на козий мех ни змея, ни какая насекомка не заползёт ни в жизнь, да и тепло ниже полезней тепла верхнего.

С утра дядьки куда-то уходили со своими мешками. Вечером возвращались. Кем они были в жизни и чем кормились — загадка. Бывалые люди, которым я позже рассказывал об этой встрече в лесу,

предполагали, что они промышляли гашишем. Поставляли на север — в зоны — со степного юга наркотический товар. Короче, занимались опаснейшим, по тем временам расстрельным делом.

Хантый достал из своего сидора огниво-кресало, трут, кремь и научил меня ими пользоваться. Из кожаного мешочка вынул отконопаченный мох и на моих глазах ловко скрутил запасной жгут, велел повторить за ним все действия, после чего отдал огниво нам.

Тайком от Митяя он объяснил мне, что у моего дружка нелады с лёгкими и его надо хорошо кормить, а лучше скорее добраться до города и отдать Митяя лёгочным докторам на лечение.

Главный дядька велел нам на другой день после их ухода сняться и исчезнуть со стойбища, не то могут прийти настоящие охранники. Он показал мне выше нашей поляны тропу, по которой лесом можно незаметно подойти к запасным путям железки. А по реке запретил возвращаться. О них, ежели попадёмся фараонам, — ни гу-гу, видеть не видели, знать не знали, слышать не слышали. Приказал нам перед уходом разобрать свой шалаш, разнести ветки от него в разные стороны. Здесь стояли рыбаки, а не лесные волки.

Встреча с лесными людьми была подарком судьбы, школой выживания на воле, в лесу, в природе.



В дальнейшей беспризорной маете хантыйская наука спасла мне здоровье.

Утром, когда мы проснулись в собственном шалаше, их уже и след простыл. Около кострища лежал новый холстяной сидор и кусок хорошей верёвки. А в самом кострище — несколько печёных картофелин: перед уходом узкоглазый ещё раз расщедрился. Нам стало грустно без них, особенно без Хантыя.

—

## КАЗАХИ

Мы выполнили все наказы и в полдень вышли на лесную тропу, указанную главным дядькой. Тропа привела нас лесом почти к самым запасным путям. Чтобы попасть к теплушкам, нужно было перейти небольшое поле. Но мы побоялись и решили дожждаться темноты.

Из трёх пустых составов один, самый длинный, состоял из теплушек, платформ, бензовозов, нескольких загруженных отборными брёвнами лиственниц лесовозов. Его-то мы и выбрали. Он явно был сформирован для отправки на Урал. Под покровом темноты мы с Митькой забрались в одну из срединных теплушек и решили не спать — вдруг паровоз подадут не к нам, а к другому составу. Но я не выдержал —

уснул. Митяй растолкал меня и велел посмотреть, в чём дело, — вроде нас расцепляют. Действительно, от нашего состава треть вагонов, в том числе и наш, отцепили маленьким паровозиком-«кукушкой» и отвели на другой путь. Наш вагон оказался третьим с конца, если смотреть с востока на запад. До утра мы не спали, боясь, что уедем в обратном направлении, но утром вдруг состав загремел — с запада подошёл паровоз и зацепил наши вагоны. Через три-четыре минуты наш новый поезд тронулся в сторону Челябинска. На радостях по этому поводу мы съели по две запечённых в лесу картошки и уснули праведным сном.

Сутки тряслись в своей теплушке. Поезд то мчался, то плёлся, то останавливался на малых полустанках и пропускал составы на восток. Следующим днём встали окончательно на довольно большой станции, заполненной огромным количеством узкоглазых смуглых людей, чудно одетых в полосатые халаты, островерхие шапки и смешные короткие сапожки. Говорили они на непонятной нам тарабарщине. В Омске таких людей в халатах называли казахами. Неужели мы приехали к казахам?

Они, как и все прочие, встречали своих демобилизованных, оставшихся в живых детей, отцов, родных. За товарной частью станции на обширном пустыре расположился целый казахский лагерь

с лошадьми, кибитками, юртами. Там же находился довольно большой базар, на котором продавали шерсть, войлок, овчину, кожу, баранину, конину, крашеную глиняную посуду. От пёстрых цветных халатов, войлочных расшитых шапок, ковров, на которых лежал товар, возникало праздничное настроение.

Вернувшихся с фронта или из госпиталя солдат казахи встречали полными семьями, с детьми, лошадьми, собаками. Сажали на лошадей как героев и с гордостью везли в свои стойбища. Мы видели, как мѳлодого, совершенно безрукого обрубыша, грудь которого была в панцире орденов и медалей, посадили на белого коня, надели на него войлочную казахскую шапку, опоясали красно-белым поясом, и два аксакала в полосатых халатах вывели под уздцы коня со станции на базарную площадь. Там в честь безрукого палили из охотничьих ружей, играли на каких-то незнакомых инструментах, били в барабаны – видать, обрубок на войне сильно отличился.

У казахов мы гостевали четыре дня, ночевали в их юртах. Они были поставлены на площади, огороженной телегами. Снаружи телег на ночь привязывали лошадей по кругу, головами к центру. Лошади служили великолепной охраной стойбища. Казахи пожалели нас, узнав, что мы с севера, из Ленинграда и Новгорода, накормили бараниной, приговаривая:

— Новгорода — как далеко, как далеко, Ленинграда — ой как далеко.

Они хотели, чтобы я оставил слепенького у них, так как он болен лёгкими, а они его вылечат. Митька отказался, надеясь, что скоро попадёт на родину, к своей новгородской бабке. Чтобы защитить его лёгкие в дороге, казахский важный дед сшил ему из кусков овчины жилетку, а мне дал небольшой шмат овчины, чтобы я спал на нём.

На третий день мы узнали от вагонных обходчиков, что наш состав тронется в путь послезавтра утром и пойдёт по направлению к Кургану. Нам это годилось, только бы он поменьше стоял на полустанках. Наутро, расставшись с добрыми хозяевами, мы с Митяем забрались в очередную теплушку нашего поезда и, распределив многочисленные подарки по нашим котомкам, хорошо поужинали бараниной с кумысом и казахскими лепёшками. Уснули быстро. Проснулись утром — поезд шёл на запад.

## ДЕТИ АРТИЛЛЕРИСТОВ

Ночи становились холодными. Митьку выручала дарёная меховушка, но всё равно к утру мы здорово замерзали. Надобно было где-то достать шерстяное

одеяло – хотя бы одно на двоих. В Кургане, куда прибыли на третий день, мы маялись несколько суток и чуть было снова не попались в руки легавых. Поначалу промышляли на рынке, но за два дня работы интерес к нам исчерпался, и мы решили выйти на вокзальную площадь. Там собралось много военных, им наш репертуар годился больше, чем торгашам, но там было опаснее, могли нагрязнуть чёрно-малиновые мухоморы.

Выступления на площади прошли успешно. Слепёного Митьку просили петь и петь. Моих проволочных вождей разглядывали, передавая из рук в руки. Все три песни про вождя были спеты, народ требовал ещё, и Митька спел им жалостливую:

Как в саду при долине  
Звонко пел соловей.  
А я, мальчик, на чужбине  
Позабыт у людей.  
Позабыт, позаброшен  
С молодых юных лет.  
Сам остался сиротою,  
Счастья-доли мне нет...

Пел он про себя, да так здорово, что у многих дядек слёзы выступили на глазах. Когда он закончил, к нему подошёл здоровенный мужик в офицерской форме

с большой звёздочкой на погонах, подхватил Митьку и расцеловал под одобрение служилых.

Только мы сработали своё выступление и стали собирать пожертвования, как к нашему кругу подошли с вокзала два милиционера с вопросом, что здесь происходит. Им ответили: ничего особенного — песни про вождя поём.

— А пацанва откуда и что здесь делает?

— А пацанва своя, дети полка, — сказал дяденька с большой звёздочкой на погонах. — Вон, видишь, малёк, фашистами раненный. Они со мною, на моих хлебах.

И показал свои важные корочки, после чего те отзынули.

Второй раз заступились за нас военные. Дяденька оказался майором-артиллеристом, командированным на Урал с целой командой подчинённых и специальным составом железнодорожных платформ за какими-то новыми самоходными пушками. Мы с Митяем, рассказав ему про свою жизнь на колёсах, попросили помочь добраться до Челябинска, где бы мы сдались в детприёмник, отжимовали бы там, подлечились и отучились в школе. Он согласился довезти нас до Урала с условием — на больших станциях не высовываться из вагона.

На сей раз нам крупно повезло. Челябинск не за горами, и, главное, мы не будем мёрзнуть в пустых

теплушках. Дяденька-майор накормил нас в ресторане вокзала вкуснейшим обедом, состоявшим из борща, большой мясной котлеты с жареным картофелем и настоящего компота из сухофруктов. Это поразило нас с Митькой — мы ведь никогда не ели за столом, застеленным белой скатертью, из белых тарелок с синими полосками по краям, не ели такими тяжёлыми блестящими ложками и вилками, да и не знали, как это — есть вилками. Да ещё в зале с огромными окнами, колоннами и картинами на стенах. И тётенька-официантка — такая внимательная, улыбчивая, старательная — принесла нам картошки больше, чем положено, а картошка, жаренная в масле, другого вкуса совсем, чем в приёмной столовке. После наших бесконечных мотаний, нашего полуголодного существования, после нашей сухомятки дяденькой-майором устроен был для меня и Митьки сытный рай, запомнившийся на всю жизнь.

По окончании обеда товарищ майор привёл нас к жилому вагону своего состава и сдал усатому старшине с велением вымыть, переодеть в чистое и определить места на верхних полках в купе сержантов. Самым трудным оказалось переодеть нас в чистое бельё. Мы с Митькой оба вместе помещались в одной самой малой солдатской рубахе, а в форменных кальсонах исчезали с головой. Но что делать, он велел нам забраться каждому в рубаху и залезть на

полки под одеяла. Завтрашним днём обещал что-нибудь придумать. Впервые за целый месяц мы спали вымытыми и в чистых рубахах. Поутру старшина сбегал на базар и обменял солдатские кальсоны и рубахи на детские, правда всё равно большеватые, но всё-таки не гулливерских размеров.

К вечеру наш артиллерийский состав подсоединили к паровозу, и мы поехали на Урал, причём не останавливаясь.

Все подчинённые товарища майора отнеслись к нам по-доброму. Мы старались не быть обузой и ублажали их чем могли. Митька пел, пел под баян. Он попросил попробовать поиграть на нём — ему дали. Довольно скоро стало неплохо получаться.

— Способный малец, — определил старшина. — Вырастешь — музыкантом станешь.

Для меня сыскали моток толстой медной проволоки, и я из неё согнул большой профиль вождя, который старшина прикрепил к стенке начальственного купе.

На третий день подъехали к Челябинску. Артиллерийский состав далее направлялся на север, не то в Тагил, не то в Златоуст, не помню. Мы ехать с ними не решились. Митька сильно кашлял, необходимо было срочно устроить его в больницу. Да и зимовать в большом городе лучше. Состав затормозили на запаске, довольно далеко от станции. И начали



готовить к перегону на другие пути, минуя Челябинск. Майор приказал старшине проводить нас до вокзала. Не знаю, как бы мы добрались до Урала без артиллеристов во главе с майором.

Расстался он с нами по-военному, без лишних слов. Велел в городе сдать на милость милицейским.

## ЛЕГАВКА

Перед тем как отдаться государству, мы со слепеньким завернули в кусок подобранный по дороге старого толя ключи-отмычки от железнодорожных вагонов и спрятали под заметным домом, окрашенным в синий цвет, недалеко от легавки. Спрятали надёжно, положив на столбовой камень, для чего отодвинули прикрывавшую его закройную доску обшивки. По весне заберём. Рогатку я разобрал, резинку пристроил к трусам, кресало привязал к ноге. После таких приготовлений заявили в легавку. Дежурному я признался, что сбежал из омского детприёмника, бежал к матке в Ленинград. По дороге в поезде встретил Митьку-слепенького — вот он со мною. Как холодно стало, его кашель замучил. Врачам бы показать Митьку-кента. В дороге говорили мне, что у него с лёгкими худо.

– Дяденьки товарищи милиционеры, пожалуйста, помогите, направьте его к доктору.

Помнится, главный дежурный, старый стреляный тип, проворчал:

– Ну что, волчонки, крыши тёплой не стало, холода грянули, стены до весны понадобились, а потом – опять в бега, а?

Мы молчали.

Ночевали прямо в дежурке на лавках, а утром нас переправили в детприёмник – старый трёхэтажный дом с крепкими дверьми. Я думал, что челябинская дэпэшная вохра отлупит меня за побег из чернолучского детприёмника, но обошлось без побоев.

## ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДП

Начальником местного заведения оказался комиссованный из-за ранений полковник-танкист с осыпанным шрапнелью лицом. Огромный, фантастической силы человек, не осознававший до конца свою силу. На вид страшноватый, но добрый. Его заведение не числилось, слава богу, образцово-показательным, как бывшее моё – Жабье-сибирское. Дисциплина была, но не звериная. Внутреннего чёткого деления на старших пацанов и подчинявшихся им

беспрекословно мальков, пожалуй, не было. Унизил-ок от воспитателей тоже не было. Не могу сказать, что всё было по-доброму. Но уральский народ вообще более жёсткий и более замкнутый, чем сибирский. Да и мы, пацанё, в ту пору по струнке не ходили, сами были зверёнышами, сбежавшими из клеток.

Первоначально, как положено, меня с Митяем поместили в изолятор на карантин. После мытья и облачения в казёнку нас накормили и отвели в санитарную палату спать. Медицинские сёстры челябинского ДП по сравнению с омской мралкой были прямо ангелицами. Пожилая, по прозванию Прапипетка, была почти докторицей. Младшая, Пипетка — её помоганка. Ходили они в чистых белых халатах и даже улыбались. Как потом я узнал, лечили они от всего какими-то каплями, закапывая их в нос, глаза, уши. Только болея горлом, мы вдыхали главное лекарство — порошок из стрептоцида.

Всё бы ничего, но Митяя ночью разобрал страшный кашель, не прекращавшийся до утра. Утром у него пошла горлом кровь. Обе медсестры — старая и молодая — забегали в панике. Пришёл сам начальник, танкист, велел звонить в больницу. Через час приехали санитары с врачом и забрали моего слепенького в машину с красным крестом. При нашем прощании он ладонью стал гладить моё лицо и, почувствовав слёзы, начал успокаивать, говоря, что

скоро вернётся ко мне. Я, не зная, как это делают, неловко впервые поцеловал его. Старуха-медсестра с трудом оттащила меня от Митяя, и его увели. Я в отчаянии набросился на медсестёр и стал их лупить. Не помню, как меня привели в порядок, но двое суток я ничего не ел.

Кликуха нашего главного воспитательного надзирателя, бывшего фронтового офицера, была Золоторотный Клык — у него во рту среди других, обыкновенных, торчал один золотой зуб. Клык занимал ту же должность, что и чернолучский Крутирыло, но был не столь звероподобен, как тот, к тому же ему перебили на фронте правую руку. Под настроение Клык рассказывал нам, как ходил в разведку и брал языка.

Помогашником у него служил Шкетогон, водивший нас в школу, тоже в недалёком прошлом военный. На работу являлся всегда в форме, только без погон, но с двумя лычками ранений на груди.

Кроме них, нами командовали ещё два вохровца, явно контуженные войной. Один — Однодур, другой — Многодур. Главным занятием Однодура была строевая подготовка. Почти всё свободное от школы и жратвы время дня он строил нас в шеренги по росту, ровнял, поворачивал, переворачивал «на ле...во» и «на пра...во».

Любимыми выражениями Многодура были — «не могу знать», «не положено», «не ведаю».

Весь наш надзирательский корпус состоял из военных, прошедших последнюю молотилровку, оттого, очевидно, не был столь жесток с нами. Даже кликухи им дали более мягкие, чем чернолучским держимордам. Кормили нас в южноуральском детприёмнике намного лучше, по местному выражению – богаче, чем в Сибири. Ели мы здесь, как порядочные, из тарелок, а не из кружек. Правда, тарелки были металлические, но всё-таки тарелки. Еду никто не отбирал, во всяком случае у меня. К тому же я, имея опыт, в первые дни изготовил колоду цветух и вручил их дэпэшному пахану, здоровенному лбу по кличке Кувалда. Он обалдел – в жизни таких красивых карт не держал в руках. Спустя ещё малое время я сделал две колоды другого рисунка и окончательно заработал себе его мазу на все времена. Да и вообще пацаны боялись особо разбойничать на территории детприёмника, так как начальник-танкист одним щелчком мог любому сотрясти мозг.

## УЧЕНЫЕ – СВЕТ, НЕУЧЕНЫЕ – ТЬМА

Школу, в которую я впервые попал, учебным заведением никак не назовёшь. Она представляла собою довольно длинную горизонталь барака, по-

делённую пополам. Одна половина, окрашенная зелёным кобальтом, — для гражданских, городских школьников, другая — некрашенная, чёрно-бурого тёса — для нас, воспитанников трудовых исправительных колоний и детприёмников НКВД СССР. По центру барака — тёмный коридор, по бокам — клетки-классы. В каждом классе — огромные печи-голландки, обитые металлом. У задней стены класса вокруг печки — высокая поленница из сырых дров. На противоположной стене — школьная доска из листа фанеры, крашенной в чёрный цвет. Над доской — старый, засиженный мухами лозунг: «Ученье — свет, неученье — тьма». Занятия в каждом классе проходили в три смены. Город ещё был забит эвакуированным людом. Школьного народа — и чистого, и нечистого — с лихвой хватало на три смены.

По утрам, когда Шкетогон пригонял нас в школу, в классе свирепствовал холод. Истопник Мумука, глухонемой мужичишка, не успевал протопить сырыми дровами все классы, и нам приходилось ему помогать. Я, прошедший огневую подготовку у Хантыя, смекнул, что колотые полешки лучше ставить стоймя, от комля вверх, как для ночного костра. Размеры топки позволяли это делать. У меня получилось сразу — дрова разгорелись куда быстрее. Мумука сильно удивился и сделал меня своим помогатцем, а пацанва присвоила звание главного печного топицы.

С коридорной стороны на нашей двери висела объявилочка: начальные классы. Действительно, в этой школьной клетке обучались первые, вторые и третьи классы вместе. Кроме нескольких шкетов, все ученички начальных классов были страшными переростками. Не могу сказать, сколько кому исполнилось лет, но у многих из них под носопырами пробивались усы. Эти дети войны были неуправляемы. Ежели им, здоровенным амбалам, что-то не нравилось, то могли и полено метнуть в учителя. Я как истопник сидел на задней парте центрального ряда у печки, колотые поленья буквально упирались в спину. Моим соседом по парте был Верзила из колонии. Так вот, когда училка вызывала его к доске отвечать урок, он выхватывал из поленицы хорошую деревяшку и отправлял её по полу в учительницу, приговаривая:

— Это вместо меня, пускай она тебе и отвечает.

Когда очередная учительская тётенька не выдерживала такой жути и в слезах выбегала в коридор, в классе начинался безобразный кошмар. Битюги-переростки выскакивали из-за своих парт, хватали мальков, издеваясь, «давили вшей» на наших головах и забрасывали нас на поленицу. Переворачивали парты, колотили по ним поленьями, на доске рисовали огромную задницу и кричали:

— Хенде хох — спасайся кто может!

Бесчинствовали вовсю. Один из долдонов становился у выключателя и дополнял это светопреставление, включая и выключая электричество, приговаривая:

— Ученье — свет, неученье — тьма!

## НАЧАЛЬНИЦА ШКОЛЫ

Вся кутерьма происходила до тех пор, пока не распахивалась дверь и в её проёме не появлялась начальница школы — седая, коротко стриженная, в тёмном аккуратном костюме тётенька с властным взглядом. Класс мгновенно замолчал. Она не спеша подходила к училкиному столу и презрительным тоном произносила такую фантастическую тираду в адрес разбушевавшихся переростков, что у тех отвисали челюсти. Причём в её ругательном уроке не употреблялось ни одного матерщинного слова. Но всегда сильно, образно, точно по характеристикам и каждый раз — по-новому. Для меня, бывшего пшека, это были уроки русского языка, поэтому я слушал её с большим интересом. Начальница школы обладала такой мощной внутренней силой, что заряжала воздух вокруг себя, и все наши жутики во главе с паханом её страшно боялись. Она награждала их такими



сочными кликухами, что вся кодла переростков немела, переживая услышанное:

— Ну что, трапездоны трюхатые, снова напоганили — казаками-разбойниками прикинулись, мухососы шелудивые, курыль-мурыль вонючая! Вместо учения бляеть и мумукать всю жизнь хотите, вши мясные, шамкалы свинорылые? А ты, верзила мордозада, зачем хавалку свою расстегнул, сботать захотел или поленом в меня метнуть пожелал? Давай, попробуй. Тебе, пахан прыщавый, женихаться пора, а не второй класс коптить. Слышишь, сегодня же перед учителями отмолись за всю шоблу, иначе вохре тебя сдам и велю охочие места свинтить. Понял?! И вы, блатари-козлоблеи, уразумели науку? В минуту чтоб порядок в классе был, не то я вас, мудапёров, сама припоганю...

К концу её тронной ругани все переростки стояли перед нею, вытянувшись в струнку, и не гугукали.

В детприёмнике шептали, что в двадцатые-тридцатые годы её саму крестили крестами, но только по политической части.

После ухода начальницы битюжная пацанва наводила порядок: спускала мелких с поленниц, поднимала перевёрнутые парты. На месяц-полтора воцарялся относительный покой.

## АМБАРНАЯ КНИГА

Учебники, по которым я учился, сплошь были разрисованы нехорошими картинками и расписаны матерщиной, благодаря чему познать трёхбуквенную науку мне пришлось сранья.

Для записи уроков и домашних заданий по всем предметам мне на целый год выдали огромных размеров толстую амбарную книгу в крепком картонном переплёте, которому не было сносу. Книга эта с двух сторон делилась на несколько частей, соответственно предметам. С одной стороны я записывал уроки, с другой – выполнял задания. В этом гробу был целый отдел для рисования, где я изображал картёжных королей, дам, валетов и вождей, тренируясь для будущей жизни.

Весною, когда закончилась школа и наступило время побега, я передал это сокровище моим остающимся поделникам.

## НЕМЕЦКИЕ ИНОРОДЦЫ

Одно событие в челябинском ДП запомнилось особо. Где-то после Ноябрьских праздников нас стали уплотнять. В каждую и так тесную палату

втиснули ещё по две, по три койки, практически ликвидировав проходы. В две освободившиеся палаты привезли и поставили металлические кровати. Коридор за выходом на лестницу перегородили стенкой, обшитой фанерой, со вставленной в неё дверь. Долгое время мы не знали, для чего производятся такие серьёзные приготовления. Потом поползли слухи, что к нам пригонят и поделят военнопленных немцев детского возраста, вроде нас, но только фашистиков. Помню, что слухи эти нам совсем не понравились. Почему наши палаты отдадут врагам? Почему мы, победители, должны жить в тесноте?..

Действительно, в конце ноября к КП приёмника подъехали два автобуса, и к нам на этаж вохровцы подняли целый отряд тощих пацанков и девчонок с перепуганными лицами. Мы целой дэпэшной толпой стояли в коридоре и смотрели, как охрана пересчитывает фашистиков, называя их нерусские фамилии. Но странное дело, все эти немчики и немчихи отлично говорили по-русски. Как это они так быстро научились русскому, непонятно. Даже мне, чтобы перейти с польского на русский, пришлось два года косить под Му-му. Мы стали тормозить наших воспиталов — Однодура и Многодура, те объяснили нам, что эти немчики не гитлеровские, а русские, вроде как русские поляки, русские финны, русские греки,

русские евреи и другие русские инородцы. Родители у них при наступлении немецких войск были высла- ны в Казахстан, и их вскоре переправят туда же.

Нас с ними не смешивали. Вохра у них была своя, более свирепая, чем наша. Кормили немцев отдельно от нас и гораздо хуже. Вся дэпэшная шоб- ла разделилась пополам — одна часть им сочувство- вала и даже подкармливала, другая, наоборот, уни- жала. Если бы не охрана, их бы сильно побивали. Прыщавый пахан с мордозадым Кувалдой попыта- лись даже изнасиловать немецкую девчонку в дровя- ном сарае, выкрав её из отряда во время прогулки. Спасла вохра, услышав крики о помощи, вовремя остановила насильников.

Судилище над желателями детприёмовский мо- гучий полковник произвёл прямо во дворе. Взяв за шкварники одного в левую, другого в правую руку, поднял их над землёй и стукнул лбами друг о друга. После чего сотрясённых лечили неделю в изоляторе у Пипеток, а по окончании лечения отправили в тру- довой колонтай для дальнейшего исправления.

В начале мая немчишек увезли от нас на восток. Мы, столпившись в коридоре, провожали инородцев уже как своих. Многие из них, прощаясь, зачем-то плакали.

## СМЕРТЬ МИТЯЯ

Первый раз к моему другу Митяю, по которому я страшно скучал, мне удалось попасть только в конце ноября. С огромным трудом я уговорил самого полковника, чтобы кто-то из его подчинённых сводил меня в больницу на повиданку со слепеньким земляком. При встрече мы обрадовались друг другу. Он, пройдя двухмесячное лечение, чувствовал себя лучше. Но, к своему огорчению, я узнал, что после выписки его отправят жить не к нам, а в какой-то приют для слепых детей и там начнут обучать в специальной школе. Кормёжка в том приюте намного лучше, чем в нашем приёмнике, а это важно для лёгочных больных.

Следующую повиданку удалось заполучить только в начале марта, уже в спецприюте для слепых детей имени какого-то Ушинского, куда его перевели из больницы. Я ему принёс сахару, масла – гостинцы, которые накопил и выменял на рисованные карты. Поначалу он не хотел брать. Митяй стал знакомить меня со своими незрячими однопалатниками, как младшего братана. Я был младше всего на год. Чувствовал себя он вроде неплохо, но выглядел странно бледным и худым. Мы с ним поклялись друг другу, что в июне бежим вместе из Челябинска на нашу северо-западную родину, а сейчас начнём готовиться к побегу.

Во второй раз в его приют приехал я в сопровождении вохровца в конце мая. Местный старик-сторож с прокуренными буденновскими усами спросил, к кому мы пожаловали. Я сказал, что идём к моему слепому братану — Митьке-певцу. Он, нахмутив свои волосатые брови, прохрипел в ответ:

— Слепенький твой шкетёнок днями отдал дых, лёгкие у него в дырках оказались, вот так-то, мил-мал дружок.

Меня подкосило, я аж присел и долго не мог подняться и как-либо двигаться. Его смерть — моё первое по жизни страшное горе. Я долго не понимал, как смогу жить.

Через несколько дней из охраны передали мне его овчинную жилетку с запиской, писанной кем-то: «Степанычу для согрева. Твой Митяй».

В июне я, выкрав у кастелянши свой хантыйский сидор, бежал. Бежал снова один, бежал на запад, в мой блокадный город. К правой ноге подвязал мешочек с торцевыми поездными отмычками, наследством сибирских скачков. А в карманах моих шаровар снова находились два точно отмеренных мотка новой медной проволоки. В правом — для профиля Сталина, в левом — для профиля Ленина. К этому времени я гнул их уже с закрытыми глазами.



Часть 3

## КРЕЩЁННЫЕ КРЕСТАМИ

*Ну а мамка где – не знаю,  
Потерял с давнишних пор.  
Мамка мне – трава густая,  
Батяка – ветер да костёр...*

*(Сиротская песня)*



С челябинского бега начались новые узоры моей житухи на просторах предуральских земель среди людской тайги. Бежал я из детприёмника один, никого не сговорив, но бежал с памятью и тоской о своём первом в жизни кенте — слепеньком Митяе. Бежал в майской теплоте из окна школьного барака. Все немногочисленные шмотки и необходимые припасы накоплены и сныканы были в родной печке. Харчей удалось собрать более чем на три дня. Вагонные выдры-отмычки удачно перезимовали в подклети старого дома.

Поначалу я двинулся в сторону вокзала, но, обойдя его, вышел на железнодорожные пути и вдоль них дотопал до зоны формирования грузовых составов с задачей найти поезд, направлявшийся на север в сторону Свердловска или Перми. Вся зона оказалась забитой вагонами. Узнать, какие куда направляются, просто так невозможно, необходимо у кого-то спросить, но спросить обиняком, осторожно, чтобы не заподозрили во мне беглеца. Мои данные наверняка уже сообщены по всем узловым станциям.

Благодаря карте, висевшей в школе, я знал, что конечными в Челябинской области являются Кыштым, Маук, Уфалей. Хорошо бы поскорее добраться до них. Дело в том, что, пока беглец не выехал с территории Челябинской области, он её собственность. Если бежал из Челябинска, а попался на свердловских или молотовских землях, то сдадут в их ДП — всё-таки севернее, ближе к Питеру.

Я стал шастать между вагонами в надежде встретить подходящего человека, который помог бы мне. И вдруг увидел пацанюгу в форменной железнодорожной фуражке старше меня лет на пять-шесть, несшего бидон с кипятком, явно посыльного от бригады работяг. Подкатив к нему, вежливо спросил:

— Дяденька рабочий, вы не можете сказать, где формируются составы на Свердловск и Молотов?

— Я тебе не дяденька, — возмутился пацан, но, видать, клюнул на мое величание.

— Простите, но туда должен подойти мой дедко и передать с охраной посылку... А я потерялся — вон всё кругом одинаково.

— Для кого одинаково, а для кого — нет, — побахвалился пацанище. — Тебе пофартило: мы там утром работали. Иди назад, откуда я пришёл, до водонапорки. Меж путями увидишь столб с питьевыми кранами. Так вот справа от столба свердловские составы. Смотри осторожно по путям шастай — вагоны-то толкаются...

В те далёкие времена почти на всех значительных станциях России между путями, сразу за вокзалом или впереди его, стояли питьевые столбы. В каждом из них, в небольшой нишке торчало по два крана с водой — один с холодной, другой с кипятком. На узловых станциях такие столбы ставились для нужд работного люда в местах формирования составов. Кроме кранов с водою в нишке находилась большая металлическая кружка, обязательно прикованная к стенке хорошей цепью, чтобы желатели не смогли унести её вместе с питием. К этим устройствам из остановившихся поездов торопился народ с чайниками, графинами, бутылками, флягами. Часто возникали очереди жаждающих. Лагаши-кондукторы по неписаным законам набирали воду вне очереди.

Все теплушки свердловского состава оказались пустыми, но закрытыми навесными замками, и в своё убежище на колесах я попал с другой стороны — через оконце, и то благодаря отогнутому по какой-то надобности одному из металлических прутьев решётки и, конечно, благодаря своей тогдашней худобе и малости. Но если начальники какие вскроют висячий замок и отодвинут дверь, то я — тут как тут. Обратнo меж решётками мне сразу не протиснуться... От таких мыслей я даже прихудел. Оставалось надеяться, что мне повезёт, и просить Боженьку, чтобы состав скорее тронулся. Вскоре так

и произошло — Боженка помог. Залязгали и залаяли буфера, вся змея вагонов подалась назад, а затем, через малое время, дёрнулась вперёд — и, медленно стуча колесами, мы поехали. Я приник к щели в задвинутой двери теплушки и стал зырить на уходящие челябинские железнодорожные строения, semaфоры, будки, мосты. Через некое время после моего беспризорного обеда заснул на остатках соломы, бывшей в вагоне.

Во сне видел слепенького Митяя, ходящего по вагонам пассажирского поезда с жалостливыми песнями:

Как в саду при долине  
Звонко пел соловей.  
А я, мальчик, на чужбине  
Позабыт у людей...

В ту пору я постепенно становился зверённышем, сбежавшим из клетки. Нюхом чувствовал опасность. Просыпался при подозрительном шорохе или звуке. По запаху определял приближающееся жильё, даже людей. Дурные человеки и пахли по-особому — плохо. Одним словом, превратился в какое-то чувствительное.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОВАР

Несколько станций с тяжёлыми для моего полупольского уха названиями: Аргаяш, Бижеляк, Кыштым, Маук, Уфалей — я преодолел в своём товарняке почти без остановок, но с некоторыми приключениями.

Остановились мы для дозаправки локомотива в посёлке Кыштым (название с двумя нелюбимыми для меня буквами «ы» — звук «ы» в русском языке мне долго не давался). Я решился осторожно вылезти из своей берлоги и сбежать за кипятком, чтобы заварить в котелке, подаренном солдатами, притыренный в Челябинске чай. Мне довольно скоро удалось незамеченным пролезть через оконце и вытащить привязанный верёвкой котелок.

По дороге к кипятку, топая между товарняками, я наткнулся на неожиданное зрелище — железнодорожное полотно и частично межпутье с двух сторон было плотно засыпано пшеничным зерном. Тучи воробьёв, галок, грачей, ворон паслись на этом нечаянном халявном торжище. Главенствовали количеством воробьи. Вероятно, в этом месте рванулся или сотрясся прошедший товарняк, гружённый зерном, наградив станционную землю драгоценной съедобой. На эту птичью армаду медленно, задом наезжали вагоны крепких столыпинских теплушек с закованными

амбразурами окон, за решётками которых торчали стриженные наголо женские головы, глазевшие голодными гляделками на пиршество птиц. Я не сразу сообразил, что это за поезд. Понял по вооружённым вертухаям, стоявшим в открытом тамбуре последнего вагона.

На меня двигался целый состав крещённого крестами государственного людского товара.

## КИТАЕЦ

Под утро следующего дня мой поезд встал на какой-то узловой станции. В щель, да ещё спросонья, что-либо разглядеть было невозможно. Но я спиной почувствовал неладное. С улицы доносилось мычание коров, топот копыт и щёлканье кнутовища. Я решил срочно выбраться из своей теплушечной тюряги. Оказалось, что испуг спины меня не подвёл. Весь состав, в том числе и мою теплушку, ждало стадо крупного рогатого скота. Станция называлась Уфалей – последняя станция, до которой я доехал Челябинским товарняком. На ней всё равно пришлось бы затормозить. Все мои детприёмовские съестные припасы закончились, и с задачей поднадыбать где-либо питание я двинул к станции.

Заметив мухомора на перроне вокзала, решил обойти его со стороны посёлка и в нём наткнулся на местный рынок. В ту пору в наших селениях все дороги вели на толкучку. Полупустой, угрюмый базаришко явно не нуждался в моих художествах. Что-то надо было предпринять. Голод не тётка. Может быть, показать вождей в столовке, в Сибири ведь получалось. Хорошо бы узнать, где столовка. Торговые тётки в Предуралье злые, недобрые, спрашивать их бесполезно, могут и легавых позвать. Увидев единственного дядьку среди торговков на другой от меня стороне рынка, я направился к нему. Им оказался старый узкоглазый человек, похожий на казаха. Самое интересное – этот человек торговал раскрашенными стеклянными рамками для фотографий и картинами с яркими цветочными узорами, рисованными также на стекле. Его прилавок звенел на всю площадь рынка неожиданными контрастами цвета, излучал какую-то незнакомую сказочную энергию, которая меня остановила и озадачила. Я забыл про свой вопрос и прямо прилип к прилавку, дивясь такой невидали. Во, интересно: он вставляет мятые серебряные и золотые фантики в яркие пятна узоров-цветов и обводит все чёрным контуром. Вот научиться бы чему, подумал я.

– Что смотлис, малий, класиво? – вдруг спросил меня дядька каким-то бабьим голоском с незнакомым акцентом. – Что тебе больсе нлавится?

— Всё нравится. А вон эти цветы больно ловко рисованы, — показал я на стеклянную картину. — Не видел никогда таких сказочных. Откуда ты их взял?

— Они китайские.

— А ты китаец?

— Да, китаец.

— Первый раз живого китайца вижу. Видел только Мао Цзэдуна, вождя вашего, на картинках и портретах. Ты, дяденька, научил бы меня красками рисовать?! Я тушью умею — вон, смотри, челдонка, — я достал из бушлата колоду карт, рисованных в челябинском ДП, и протянул китайцу.

Он стал их рассматривать, почему-то причмокивая.

— Холосё, ц, ц... Холосё, ц, ц... У нас калт не купишь, ц, ц... Холосё...

— Ты научи меня карты красить, я бы их рисовал и красил — во бы заработали!..

— А ты цей?

— Я ничей, бегу к матке в Ленинград. В Сибири и Челябинске в детприёмниках торчал. Научи, я тебе помоганцем стану — гавриком!

— Холосё, холосё, надо думать... Плиходи завтла, говолить будем...

— Куда?

— Сюда на лынок. Я с жёнкой Сяськой советуюсь.



— Хорошо, приду завтра.

Он показал мне, как пройти к столовке. Поход в неё оказался мало удачливым. Вожди мои местным бурундукам, как обзывали уральцев соседи, были совсем не нужны. Пришлось отдать за кормёжку свою последнюю колоду карт. Засыпая на соломе в забытой на запасных путях теплушке, я решил идти в ученики к китайцу, если возьмёт, и до середины августа остановить свой бег.

Следующим днём с разрешения Сяськи, которая оказалась Аськой, то есть Анастасией Васильевной, я был взят помогателем к китайскому художнику. Мастер, забрав меня с базара с моим тощим сидором, привёл в свой бело-синий дом, единственный крашеный дом на всей мрачной улице неподалёку от рынка, и поселил прямо в мастерской — сараюшке с оконцем, у которого стоял рабочий верстак. На нём малевалась живопись. Из-под столешницы верстака торчали ящики с красками, кистями, бумагой, картоном. С левой стороны от входа находился стол для резки стекла, напротив, справа — другой, с керосинкой для варки клея и противнями для покраски бумаги. Сундук-топчан справа от двери, у стены, стал для меня спальным местом. Основное учение длилось недели две, после чего мастер доверил мне трафаретить цветы на стёклах для фоторамок. Уже к концу июня и прориси на них я делал сам.

Чтобы соседские бурундуки не цеплялись к китайцу, меня выдавали за племянника Сяськи, приехавшего с Вологодчины на каникулы учиться у него ремеслу. В июле я помогал мастеру расписывать дом важного местного человека — директора рынка, татарина, между прочим. Красил масляными красками цветы на стеклянных дверцах старинной горки. В июле — начале августа дядюшка Сяо (так звали китайца) с моей помощью изготовил дюжину карточных колод по трафаретам. Очень качественно. Китаец достал где-то плотную глянцевую бумагу — огромный дефицит в ту пору. Работать у него приходилось много, но относился он ко мне по-доброму. Тётка Васильевна, как я её звал, кормила сытно. По выходным, которых фактически не было, сам хозяин варил рис; где он его брал — никто не знал, даже жена Сяська. Единственно, что поначалу оказалось трудным, — вставал китаец с солнцем, а спать ложился сразу после заката. Пришлось мне к нему приспособиваться.

Мастер происходил из оставшихся и осевших у нас маньчжурцев, нанятых русским царем в конце XIX века на строительство КВЖД. Некоторые из многих тысяч китайских строителей остались в России и после открытия железной дороги разбрелись по её просторам. Анастасию Васильевну уфалейцы обзывали «вечной китайской женой». Она была

второй раз замужем за китайцем, первый умер по болезни. Русские бабы, попробовав китайца, к своим мужикам не возвращались.

Он многому научил меня за эти три с половиной месяца. Главное, что я освоил с его подачи, — технику трафарета, которой на путях своей житухи часто кормился, «печатая» и продавая игральные карты. Научил расписывать анилином на клею что угодно: стекло, бумагу, материю. Делать прориси тушью, маслом, лаком. Научил пользоваться масляными красками. Окрашивать ровно простую бумагу анилинами в разные цвета. Работать кистями, торцевать губками, тряпками, и всякому другому.

В середине августа с помощью татарского директора рынка Тахира Адильевича купили они мне билет на пассажирский поезд Челябинск-Молотов до станции Кауровка, откуда я сам должен двинуться к северу. Впервые в жизни мне предстояло ехать как пану, в пассажирском вагоне с собственным сидячим местом. Ещё за помоганскую работу тётка Васильевна одарила меня маленькими аппетитными пирожками с грибами, капустой и гречей.

В вестибюле вокзала на главной стене против входа висел портрет товарища Сталина, страшно смахивавший на татарина — начальника уфалейского рынка, которому мы с учителем малярили дом. В моём сидоре кроме пирожков находилось семь

колод отличнейших цветух, изготовленных мною в «китайском пленении».

## МОЛОТОВ-ПЕРМЬ

Кауровка оказалась узловой станцией. На ней я из своего вагона переместился в кочегарку соседнего и проехал в ней ещё четыре остановки, затем пролёта три-четыре ехал в тамбуре второго вагона среди каких-то работяг, потом снова в кочегарке, пока не добрался до границы Пермской области. На этом пассажирском поезде мне удалось преодолеть ещё несколько станций буквально на подножках вагонов. Но за две остановки до Ергача кондукторы всё-таки согноли меня-безбилетника с поезда окончательно.

Место, куда меня выбросило государство, оказалось поселением довольно мелким, зато украшенным рекой. Стоял тёплый август, и я решил заякориться на три-четыре дня, вспомнить школу Хантыя, поставить шалаш в перелеске над рекою, вырыть яму для костра, заготовить дрова и, главное, добыть съестные припасы, загнав одну-две колоды карт, напечатанных китайским трафаретным способом, — единственное богатство, которым я владел. Для чего и пошёл к главному здешнему месту — магазину.

Продать колоды мне не удалось, но какой-то местный однорукий обрубок с хитрым глазом предложил обмен — две моих колоды на горку картошки, буханку хлеба и банку рыбных консервов. Маловато, но пришлось согласиться. У магазина ко мне в товарищи прилепился здоровенный пёс по кличке Мамай. Мужики, узнав, что я, не добравшись до Ергача, был высажен, сжалились и обещали помочь — дня через три туда пойдёт по надобностям машина, заберут и меня.

Мамаю угощение печёным картофелем понравилось, и четырёхлапый «монгол» остался со мной в шалаше. В последний день гостевания на реке пёс оправдал нашу дружбу. Поутру он разбудил меня рычанием. Придя в себя, я раздвинул ветки шалаша и узырил в щель, как из кострища два каких-то мандалая тащат картошку, приготовленную на завтрак. Шалаш наш стоял выше костра и был прикрыт кустом, вероятно, они сразу не заметили его. Я толкнул Мамаю вперёд, приказав взять уродов. Здоровенный пёс бросился на воришек. Те, перепугавшись, кинулись бежать к реке. Выйдя из шалаша, я обнаружил у воды целую ватагу богодуев, смотревших в нашу сторону с некоторым припугом. Наше стойбище оказалось на пути этих «калик переходящих». На всякий случай мне пришлось достать из кармана бушлата своё оружие — рогатку и приготовить лишить кого-нибудь из них глаза — я прекрасно

помнил по Сибири, с кем имею дело: эта нелюдь, это чмо не признаёт ничего, кроме силы. Оружие не потребовалось. Через мгновение оказавшись внизу, Мамай мощным прыжком сбил с ног придурка, рывшегося в костре, и своими лапищами вжал его в песок. Стая славильщиков Лазаря смылась, бросив своего дружка на произвол судьбы.

К обеду мы вернулись в посёлок. Меня взяли в машину до Ергача. Расставание с Мамаем происходило тяжело. За три дня мы сильно сдружились.

В Ергаче я решил ни от кого не прятаться. Ежели потрафит с поездом, то окажусь в Молотове, где сам сдамся на воспитание в детприёмник. Ежели повяжут раньше, то всё равно отвезут туда же. До Молотова оставалось ехать всего одну ночь. Мне таки подфартило. Оказалось, что многочисленные людишки, толпившиеся на бану\*, ждали «пятьсот весёлую поездуху» — дополнительно сформированный в свердловских землях состав из разношёрстных старых и даже пригородных вагонов. Большая часть жаждущих попасть на него состояла из эвакуированных питерских семей. Я как тоже эвакуированный с запада присоединился к ним.

Подошедший поезд буквально взяли штурмом. Меня, как какую-то мелочёвку, попавшую в людскую

---

\* Бан — вокзал (блатн.).

тесноту, занесло в занятый ещё до Ергача вагон. Несчастное людьё облепило собою все проходы, выперло в тамбуры, забралось на крыши, повисло на подножках вагонов. Вся поездушная змея издали напоминала ползущую гусеницу с вцепившимися в неё муравьями. Я, как малый обезьян, вскарабкался на третью полку и, обнаружив щель под трубою, разделявшей купе, втиснулся между ящиками, коробками и чемоданами. Привязав себя ремнём к трубе, чтобы не сдвинули шмотками, затих. За немытыми окнами вагона начинало темнеть.

Следующим днём «пятьсот весёлый» прибыл в древний город Пермь, в ту пору обзываемый Молотовым. И через неделю я был принят в свежие залётки местного детприёмника для воспитания здешними дубанами Тылычем и Пермохрюем.

Подробно всю житуху в молотовском ДП описывать не стану. Она мало чем отличалась от жизни в других казённых домах. Расскажу о нескольких эпизодах, врезавшихся в память моей головы и спины.

## ТЫЛЫЧ И ПЕРМОХРЮЙ

Успешно сдав в изоляторе экзамен на шкета, то есть пройдя через «велосипедик», мокруху (мокрую

постель) и голяка (когда меня оставили без одежды) безо всякого шума и жалоб, через неделю поднялся на этаж выше к своим подельникам.

Радушного приёма никакого не было. Допрашивал меня типарь с интересной кликухой — Тылыч, или Затылыч. Он замещал начальника. Во время войны служил в заградотрядах, чем страшно гордился. В профиль шарaban Тылыча напоминал двусторонний молоток. Лоб и затылок у него были совершенно одинаковы. Малюсенькие злые глазки прятались под нависающей костью лба и в полусвете становились незаметными. Сплюснутый сифилитичный нос почти отсутствовал. Нижнюю челюсть ему кто-то вдвинул внутрь, и моментами казалось, что мелкий рот начальника вставлен прямо в шею.

По первости, как у них положено, записывались все анкетные данные. Фамилия, имя, отчество, откуда, куда, зачем, с кем, почему и т. д. Я откровенно, ничего не скрывая, выложил ему всё: был в Челябинском ДП — бежал к мамке в Питер, по дороге попал к вам. Хочу вернуться на родину. Мать зовут Броней. Но все мои откровения его мало колыхали. Интересовало Тылыча, как я отношусь к начальственной власти и не согласен ли ей помогать, попробовал взять меня на вшивость, соблазняя дополнительным пайком. Мне пришлось прикинуться дурачком, как учили блатари на воле, и сообщить ему, что я лёгочный



больной и состою под наблюдением психических врачей, что возрастом ещё мал, а умом слаб, оттого для нормальных дел не гожусь.

Тылыч начальствовал до середины декабря. В декабре прислали к нам другого, настоящего начальника: коротко стриженного, широконосого, с круглыми глазками, малорослого монстра, получившего в первые дни кличку Хрюй, или Пермохрюй. Действительно, этот непотребный саловон полностью оправдывал свою обзовуху. Он на виду у всех приставал к воспиталкам, медсёстрам и даже уборщицам с требованием сожительствовать с ним. Нас он в грош не ставил. Мы для него были просто каким-то мусором. Этот Хрюкальчик пьянствовал, устраивал дебоши, врвался ночью в палаты с криком: «Подъём, враги! Всем на колени, суки! Скорей! Скорей! Я вам покажу муркину мать, мелкота блошинная! Кто из вас на меня телегу накатал, а, гаденыши мерзавные?! А ну, отвечайте, паразиты! До утра будете стоять на коленях, пока не расколаетесь!»

Судя по его прихватам, он явно происходил из ссучившихся блатняков, сдавших НКВД крупных воров и в награду взятых на службу в ведомство. Особенно зверские действия с зуботычинами и избиениями производил он в дни праздников, вернее после них — ночью. Мы всё более и более ожесточались, превращаясь в озлобленных зверюшек, решаясь на

отчаянные выходки – побеги из ДП даже в зимнюю стужу.

Заразившись в детприёмнике вседозволенностью, он по пьяни напал в городе на смазливую дочку какого-то начальственного энкавэдэшника и мгновенно исчез с глаз долой. Мольбы наши оказались услышаны. Тылыч при всех делах своих был многим лучше.

### ТЕКУЩИЕ ФЛАГИ

По четвергам нас под началом Тылыча строем водили в железнодорожную баню. Другим охранником мог быть любой дежурный в тот день по приёмнику.

Выстроенные ещё при царях красного кирпича бани находились недалеко от нас. Чтобы добраться до них, надобно было всего-то спуститься по старинной, застроенной одно-двухэтажными домами с деревянными крыльцами улице, пересечь железнодорожные пути – и бани перед вами. По праздникам эта улица, как положено, обряжалась красного кумача флагами.

В 1947 году в канун Дня Победы нам устроили очередную помывку. Майская погода в тот год в этих краях стояла на редкость жаркая и душная.

Температура внутри бани оказалась прохладнее, нежели снаружи.

После мытья дэпэшный отряд, попав снова в парилку улицы, двинулся наверх, к нашей горке. На полпути к детприёмнику небо над городом вдруг резко потемнело. Раздались быстро приближающиеся к нам громыхания грозы, и затем на праздничную улицу посыпались крупные капли дождя. Нам повезло, мы оказались рядом с большим крытым деревянным тёсом крыльцом старинного пермского дома. И только успели забраться на него, как раздался страшный треск. Дерево против нас развалило ударом молнии, и на всё видимое пространство рухнул поток воды. Пацаньё от неожиданной дикости природы сжалось в испуге, прикрыв головы руками, боясь, что крыша крыльца обвалится.

В темень дня сверкали молнии, поднимаясь к горе, — прямо туда, где царствовал наш детприёмник НКВД СССР.

Не помню, как долго мы торчали на этом крыльце, слипшись друг с дружкой. Но, как только ливень стал спадать, раздался удивлённо-оторопелый голосок малого шкета Задёрыша:

— Гляньте, гляньте, что это такое?.. На нас красным льёт!..

Мы подняли головы — с двух флагов, украшавших крыльцо справа и слева, вниз на землю стекала

красная жидкость. Вверху и внизу улицы вывешенные на всех домах флаги также текли красным. В полном недоумении зырили мы на это загадочное диво, пока главный цербер Тылыч с каким-то припугом не затараторил:

– Линяет, линяет, кумач линяет! Фу-ты, ну-ты – соль пожалели, гады!

Затем, заметив наши развесистые уши и почуяв опасность стать свидетелем такого страшного злодеяния, заорал на нас, приказывая:

– В колонну по двое становись! Бегом вверх по улице – марш! Вражины!

Мы побежали в гору по этой улице текущих флагов. Дождь прекратился. Вышло солнце. Оно светило нам в спины.

## ИМЯ ЕЁ МАРИЯ

Первый побег мой из молотовского детприёмника оказался провальным. Дорога на запад шла только через Киров-Вятку. Чёрт меня дёрнул сесть в рабочий поезд, шедший в ту сторону. Оказалось, что на нём кроме работяг ехали железнодорожные менты с контролёрами. Ехали, чтобы сменить отработавших мухоморов. Они-то меня и сцапали тёпленьким,

передав чернопогонникам, возвращавшимся назад. Эти легавые дядьки привезли беглеца в Молотов и сдали свирепым детприёмовским вохровцам.

Те прямо в дежурке стали дубасить меня не на жизнь, а на смерть. Не жил бы я на этом свете, если бы не случай — один из них оказался белорусом.

В бессознательном состоянии, прощаясь с жизнью, я стал молиться и креститься по-польски. Белорус закричал на подельника:

— Оставь его, оставь, не бей больше! Вишь, он крестится, с этим светом прощается — хватит уже, не то Бога обидим...

— А чё он крестится не по-нашему? А? Басурманин какой-то...

— Хватит, хватит — не то прирёбьёшь окончательно. Вишь, он Бога молит.

Бьющий взял меня за шкварник и волоком оттащил в карцер, бросив на грязный ватник.

Пришёл я в себя от холода, меня всего трясло. Поначалу подняться не мог, долго стоял на четвереньках, затем сел на левую ягодицу — правая была расквашена в пух. Подполз к кирпичной стене и по ней попробовал подняться на ноги. За этим занятием и застал меня конопатый вертухай.

— Ну что, беглец, снова карабкаешься, гад...

Я в предчувствии очередных побоев машинально перекрестился.

– Ты что крестишься, гадёныш, не по-русски? – Он шагнул ко мне и выставил к моему носу здоровенный волосатый кулак со словами: – Говори, мелкота, кто тебя так креститься учил?

Говорить мне было больно из-за побитости, но я с трудом выдавил:

– Матка, матка Броня...

– А... ты не наш, не русский...

Из-за спины конопатого высунулся его вчерашний подельник – белорус.

– Хватит с него, не тронь. Он поляк. Ночью во сне бредил по-польски, я слышал, да и крестился как католики – дланью. Я знаю, у нас на родине их много было – они все так крестятся. Довольно с него, он малый слабый, ты и так его чуть не забил! Польшуту демократией сделали. Вон их председатель Берут в Кремль приехал на поклон. Во, как быстро всё меняется! Пожалуй, малька обижать более не стоит – не ровён час...

После побоев и холодного подвального карцера я тяжело заболел лёгкими и чуть было не очурился. Белорусский цербер притащил меня в изолятор и вызвал доктора. Мне повезло. Докторица оказалась из Ленинграда. Её семью выслали на Урал ещё в 1934 году. Она забрала меня, земляка, в больницу и там выходила. Больницу ту вспоминаю как земной рай, и имя моей спасительницы святое – Мария – имя Матки Боски.

## ЯПОНАМАТЬ

Среди человекoв, кoтoрых мoлoтoвский дэпэшный малый люд уважал и с кoтoрыми считался, самым добрым до нас, даже при внешней примороженности, был помхоз — кастелянин Томас Карлович, эстонский курат\*. Этoгo высoкoгo крепкoгo старика сидельное пацаньё величало странной кликухой Японамать. В начале моего поселения в палату от соседей-подельников я слышал про старoгo Томаса мнoжествo чудных сказoк, кoтoрым пoначалу никак не верил.

Старик рубашек не носил, ходил только в свитерах с высoким воротником. На нем мoг быть надет пиджак, жилетка, куртка, — всё что угодно, но только на свитер. Пацаньё баяло, что под этим свитером спрятаны фантастически-сказочные татуировки, колотые цветной тушью натуральными японскими «банзяями».

Хoдила легенда, что он жил в Японии, в таком же приёмнике, как наш, но только для пленных. Этo сoединение — эстонец, живший в Японии, — меня сильно интриговало. Но байкам про наколки я не верил — дурочку из меня, новенького, делают. Даже поспорил с соседями по хавалке на завтрак и ужин, что

---

\* *Курат* — чёрт (эст.).

они гонят фуфло. Но через полтора месяца проиграл спор. Пацаньё лапшу на уши мне не вешало. Неизвестно, по каким причинам, но вместе с Тылычем в очередной четверг в баню с нами пошёл сам Томас Карлович. Палаточные подельники набросились на меня:

— Ну, Тень, ты проиграл, сейчас отзыришь такое кино, такой ходячий музей, что и во сне-то тебе никогда не приснится!

Что такое кино, я по рассказам очевидцев представлял, но что означает загадочное слово «музей», понятия не имел. Да и они вряд ли тоже представляли — слышали от воспиталов и охранников в виде одной из обзовух старого кастелянина.

В предбаннике оделили дэпэшников пятью шайками, мылом да тремя мочалками на всех. Затем велели быстро раздеться. Тылыч зыркнул на нас:

— Что столпились, гадёныши, а ну, брысь мылиться!

Старик Томас появился в мыльне минут через пять, когда пацанва, намылившись, толкалась вокруг шак.

— Ну, Тень, открой теперь zenки и зырь, да проужин сегодняшний помни... — толкнули меня друганы.

Что они лопочут — я не слышал. Мои гляделы затормозились на обнажённой фигуре старика — он



был весь от шеи до щиколоток покрыт фантастическими цветными рисунками. Поначалу я аж испугался — они двигались, то есть при малых поворотах тела рисунки оживали. На его теле сражались мечами друг с другом какие-то потусторонние воины в незнакомых одеждах. Между ними торчали огнедышащие змеи-драконы. На груди восседал на троне, сложив руки, большой лысый дядька, а перед ним на карачках торчало множество людишек, тоже со сложенными ручками. Все группы наколок отделены были друг от друга канителью облаков. Передать словами, что я увидел на теле старика, невозможно. Впечатление запредельное. Я окаменел. Буквально каждый сантиметр его кожи был обработан.

— Ну что, Тень, как тебе музей, а?

— Прямо кино какое-то, правда?

— Посмотри на ноги — видишь, деревья, а в листьях тётки сидят, во как! Слышишь?

Я ничего не слышал. Мои глаза пожирали всё виденное и не могли оторваться.

— Ну ты, малый, японка мать, чего уставился, застыл, что ли? Палыч, — обратился он к Тылычу, — вылей на него шайку воды, пускай очухается.

Меня облили холодной водой, после чего я стал соображать, где нахожусь. Неужели это всё понаделали люди? Быть не может, да и откуда они взялись такие?! Много всяческих вопросов возникло в моей

башке, но главное, что я замечтал про себя — научиться хотя бы толике виденного.

Тогда я ничего не знал про Томаса Карловича, узнал позже. Он во времена первой Русско-японской войны, будучи солдатом нашей армии, после контузии попал в плен к японцам. Однажды японское лагерное начальство приказало всем пленным русским раздеться догола и выстроиться в шеренгу перед какими-то двумя банзями. Те, медленно проходя мимо голых мужиков, застыли около большого, белотелого молодца эстонца и закудахтали по-своему, шлёпая своими детскими ладошками по разным частям его большого тела. Затем, одобрительно кивнув узкоглазыми головками голому Томасу, ушли из лагеря. А вечером эстонца вызвали к начальству, где через толмача предложили продать поверхность своего роскошного тела знаменитой в Японии школе татуировщиков для аттестационных работ своих учеников. За это школа выкупает его из плена, и после, говоря по-нашему, защиты дипломов на его теле он становится свободным и волен отчаливать с японских островов на родину. Томас, по своей молодости и неопытности думая, что на нём сделают несколько выколок вроде тех, какие он видел у русских солдат, согласился на сделку. Очень хотелось скорее исчезнуть из этой марсианской страны и вернуться с японского света на свой, зелёный эстляндский.

Буквально на другой день его доставили в школьную залу, где вокруг невысокого прилавка, покрытого светлой циновкой, сидело множество молодых улыбающихся банзаев. Томасу велели раздеться. Когда он оголился, все япончики разом заухали и, поднявшись со своих скамеек, стали аплодировать то ли ему – высокому, белотелому, широкоплечему русскому эстонцу, то ли двум кураторам-банзаям, выкупившим его из плена. Томас не понял, кому они аплодируют, но почувствовал, что вляпался в какое-то серьёзное дело.

Ежеутренне его под охраной привозили в этот зал, где уже сидели на своих низких скамьях одинаковые банзаи-мартышки, и после десятиминутного чирикания их пахана-профессора начинался сеанс-экзамен. Каждый экзаменуемый выкалывал на роскошной белой коже эстонца свою композицию. Интересно, что Томас во время этих экзекуций никакой боли или другой неприятности не ощущал. Наоборот, поначалу от такой нежной иглотерапии кайфовал, даже засыпал. Все дипломники работали чрезвычайно аккуратно, чисто, без лишних движений. Они не дырявили кожу как наши, а не спеша по нанесенному рисунку ввинчивали тонкие иголки в поры кожи и вводили туда натуральную тушь на спирту – заразиться невозможно. Не задевали сосуды, не прокалывали капилляры. Чувствовалось, что

все начинающие мастера блестяще знали анатомию кожи.

Шло время. Узкоглазые японские выпускники татуировальной школы превращали эстонское тело Томаса в объёмную цветную гравюру, в учебный экспонат по японскому эпосу, в фантастическое зрелище. Оставив ненаколотыми голову, шею, кисти рук, ступни, банзай отпустили военнопленного русского эстонца на все четыре стороны. Всё бы было хорошо, но как только он вступил на наш тихоокеанский берег и, попав в баню, разделся, на него набросилась толпа людишек, желавшая рассмотреть такое диво. Ему не давали прохода, заставляя показывать всем своё расписное тело. Он превратился в ходячее кино. Эстонец не знал, что делать. Начал носить свитера и рубашки с высоким воротом, стал мыться тайком. Постепенно двигаясь к Уралу, на Урале и застрял окончательно. До Эстонии не дошёл, боясь, что станет там притчей во языцех, по всем хуторам пойдёт его странная слава и опозорит он стариков-родителей. В Молотове приютила его сердобольная пермячка, и постепенно превратился он из эстонца в уральского бурундука. Постарев, устроился в детприёмник кастеляном — пацаны были для него безвредны.

После «кина» в бане я прилип к нему, желая обучиться искусству татуировки. И мне это удалось.

Он, практически работая на НКВД, подрабатывал в малинах татуировками. Колол японским способом — восемью хорошими иголками — блатные сюжеты по заказу воров. Когда его что-то раздражало, ругался — «япона мать» или реже — «японский городской». Эти выражения — явная фиксация в нашем языке неудачливой Русско-японской войны.

Он стал моим учителем. Благодаря ему я выучился делать наколки японским способом, правда упрощённым. Но в передрягах казённой жизни это ремесло, полученное от Томаса Карловича, спасало меня от многих напастей, так как оно уважалось в блатной среде.

## НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ

Бежал я удачно только на второй год пребывания в молотовском приёмнике. Первоначально, по старой моей схеме: на товарняке. Но товарняк мой где-то на границе с Удмуртией встал. Мне удалось почти на ходу вскочить в пассажирский поезд, шедший на Ижевск, и опять snyкаться в кочегарке. В ней я преодолел несколько остановок до станции Чепца. На ней лагашка-кондукторша заметила меня, выходящего из закрытой ею кочегарки. Слава Богу,

что произошло это, когда поезд остановился у платформы, и мне удалось смыться из-под её рук с выходящими пассажирами. Пробившись через массу людей с мешками, корзинами, чемоданами к концу платформы, я было почувствовал себя в безопасности, как вдруг кто-то схватил меня за запястье. Я обернулся и увидел крепко держащего меня рябого человека неопределённого возраста — не молодого и не старого, который, обращаясь к двум другим дядькам, сказал:

— Смотри-ка, какой форточёнок подходящий. От кого летишь, оголец? Не бойсь, не бойсь, не обидим. А откуда выдру-то достал?

В спешке и в суматохе моего бега я забыл snyкать поездной ключ, и он предательски торчал у меня в правой руке, зажатой клещами рябого.

— А ну, отдай-ка мне это вещественное доказательство, шкет.

«Во, влип-то, не повезло крепко», — почему-то безо всякого страха подумал я. Дядьки не похожи были на ментов даже переодетых.

— Пора канать отсюда, не то на тебя, как на живца, мухоморов нашьют, и нам всем баранки накрутят, — произнёс старший.

Отойдя порядочно от вокзала, Рябой обратился ко мне:

— Давай знакомиться. Откуда сбежал-то, Спирька, и куда бежишь?

— Бегу из челябинского детприёмника к матке в Питер.

— Давай, оголец, пришейся к нам, в нашей работе такой складной пацанёнок, как ты, пригодится.

Так, неожиданно, я оказался поначалу обласканным, а затем повязанным с кодлой поездушников-скачков-майданников в качестве «резинового-складного» пацанчика, который мог засунуться в любую щель, не говоря уже о собачьем ящике (в ту пору во многих старых вагонах существовали такие остатки прежнего сервиса). С этими тремя дядьками, нёщими за спиной по хорошему сидору, обойдя стороной станцию, мы вышли к реке и по берегу притопали на край малой заросшей деревушки, где и приютились в сторонней солидной, со всеми атрибутами — русской печкой, сенями, горницей, с красной геранью — избе. Встретила нас добрая тётя Василиса.

— Знакомься с прибавком, Вася, на станции обнаружили пионера с выдрой в руках, во как! Придется взять в семью и учить подворыша шлиперскому\* умразуму.

Вот так, после всех моих разнообразных учений я, несолоно хлебавши, стал осваивать один из самых опаснейших видов воровского заработка — майданно-поездушный.

---

\* *Шлипер* — вор-форточник (*блатн.*).

Трижды пришлось мне встречать в промысел скачков в качестве резины-форточёнка или «крана» — помоганца-гаврика в разных местах эсэсэсэрии по моему кривому маршруту на родину. Трижды меня могли выкинуть с поезда под откос рассвирепевшие пассажиры, но Бог миловал. С другой стороны, вряд ли я обошёл бы этот промысел стороною при моём нелегальном бесплатном шестилетнем движении из Сибири на запад по нашим железным дорогам, да при этом без грошей. Во все случаи моего служения шлиперскому делу посвящать вас не стану, но про обучение и первые мытарства в нём попытаюсь рассказать.

### ШКОЛА СКАЧКА-ПОЕЗДУШНИКА

Обучали, то есть натаскивали меня, как собачонку, все трое. Шеф кодлы — Рытый, или Батя, — из них самый опытный и хитрый мастер, второй помощник — Пермяк и третий — Антип. Попал я к ним, очевидно, в их «отпуск». И они по восемьдесят часов в сутки мутузили меня. Что только не делали со мной: с утра, кроме всех бегов, приседаний, отжимов, заставляли по многу раз складываться в утробную позу, причём с каждым днём сокращая время,



пока не добились буквально секундного результата. Затем вдвоём брали меня за руки за ноги, раскачивали и бросали с угорья вниз – под откос. На лету я должен был сложиться утробой и плавно скатиться по траве шариком. Учили мгновенно превращаться в пружину и, с силой отталкиваясь от ступени крыльца-подножки, прыгать вперёд, на лету складываясь в зародыша. Упаковывали меня в огромный ватник, на голову нахлобучивали и завязывали зимний маляхай и колошматили по мне кулаками, заставляя отбиваться. Чем быстрее я отвечал им сопротивлением, тем похвальнее. Добивались одновременной, а лучше – опережающей реакции с моей стороны. В конце концов после многочисленных посинений я начал звереть раньше побоев. Они добились своего: выработали у меня мгновенную реакцию. После такого обучения за всю последующую жизнь никто не поспедал меня ударить. Я либо быстро выворачивался, либо бил первым. Научили ближнему воровскому бою, то есть приёмам защиты и одновременно отключению нападающего: противник думает, что он мною уже овладел, прижал к стенке, но вдруг сам неожиданно падает на землю, на время лишаясь памяти. Такой древний воровской приём – одновременный удар локтем в сердце и костяшками кулака в висок – называется «локоть»: это расстояние у человека природа сделала равным локтю.

Обучили пользоваться нож-финку, держать её правильно, по-воровски, и перебрасывать за спиной, когда нападающий пробует выбить её из рук. Научили ловко и незаметно ставить подножки, перекидывать преследующего мента или кого другого через себя при кажущемся падении и многому другому. Научили идеально упаковывать вещи, складывать рубашки, пиджаки, брюки так, чтобы они занимали минимальное место в воровской поклаже. Научили ловко скручивать простыни, полотенца, бельё для сохранения товарного вида после раскрутки. Большая часть упаковки, в том числе краденые «углы»-чемоданы, выбрасываемые с поезда, как вещественное доказательство сжигалась или оставлялась в каком-либо схроне — кустарнике, канаве, овраге. А содержимое складывалось и скатывалось в мешки-сидоры из парусины защитного цвета (чтобы не привлекать внимание людей) и в таком виде доставлялось в «ямы» (места хранения) или «хазы» — в руки законных каинов, скупщиков краденного.

## УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Профессия скачка-маршрутника требовала не только ежедневных тренировок, но и холодного

расчёта, смекалки, наблюдений, разведки. Во-первых, необходимо было наизусть выучить расписание движения поездов. В сталинские годы пассажирские поезда ходили чётко, не опаздывая. Во-вторых, поездушники хорошо знали все географические особенности маршрута — все виражи, повороты, заставляющие поезда двигаться медленнее, все подъёмы на высоты и спуски с них, где поезда также понижали скорость. Знали, в какое время тот или иной состав будет проезжать эти места. Предпочитали поезда, которые проходили в нужной географии ночью. При посадке пассажиров наблюдали, кто с чем в какой вагон садится, и намечали два-три объекта для «кормления». Воры знали, в какое время на каком маршруте контролёры проверяют проездные билеты. Никогда не начинали работать сразу после посадки. Давали кондуктору и вагону время успокоиться, залечь, заснуть. И только потом начинали действовать.

Поначалу отсиживались в тамбурах или кочегарках в конце состава. Выдры-отмычки имели всех типов. Когда поезд покидал станцию и набирал скорость, с нужной паузой проходили в намеченные вагоны по крышам, чтобы лишний раз ни перед кем не засвечиваться. Такой номер назывался «перейти по хребту крокодила». Иногда этот трюк проделывался с чемоданами. В ту пору закрытых переходов — кожаных диафрагм, как в современных пассажирских

поездах, — ещё не было. И при ловкости им ничего не стоило мгновенно забраться на крышу или в полной темноте при движении эшелона перейти по бамперам и крюкам подвески из вагона в вагон, по ходу вскрыв торцевую дверь.

Засветившись на маршруте Кауровка–Мулянка между Свердловском и Молотовым, кодла скачков переезжала в другую область, где у них тоже всё было отработано. Запомнилось, что по маршруту Молотов–Киров они имели три ямы-хавиры. В одной маруху прозывали Косой Матрёной, во второй — Ганькой-Торопышкой, а в третьей — просто Фроськой.

## РАБОТА

Перед началом операции один из скачков — Антип (самый незаметный) производил разведку: проходил сквозь выбранные во время посадки вагоны и выяснял, где больше поживы, кто едет, каков кондуктор, нет ли ментов. Маршрутники «распечатывали» намеченный для работы вагон, то есть открывали все двери с обеих сторон, в том числе и торцевые. Первым в вагон входил главный спец — пахан скачков — самый опытный вор. Он на глаз определял, как лучше брать. Ловко, без звуков вытаскивал «углы»

из-под полок или доставал их с полок и выставлял в проход. Второй шёл мимо и, подхватив вещи, выносил их в противоположный от кондуктора-лагаша тамбур. Главный обрабатывал сонников в следующем купе, и, если оно намечалось последним, третий атасник, всю дорогу бывший у двери кондуктора, проходя, забирал и этот товар. Все действия скачков поражали абсолютной выверенностью. К концу операции змея поезда входила в поворот или забиралась на гору, сбавляя скорость. Воры распахивали входные двери, бросали под откос чемоданы, баулы, мешки и вслед за ними прыгали сами.

Много позже, оформляя номера и программы в цирке, я часто вспоминал моих скачков. Они спокойно могли бы работать на арене фокусниками, силовыми акробатами, прыгунами, эквилибристами, ходили бы по канату. Такие подвиги им были бы нипочём. Тогда в пассажирских вагонах деревянные стенки купе доходили только до третьих полок, а верхнее пространство между ними разделяла металлическая труба. Я, будучи подворышем, по третьим полкам проникал в нужное купе, пролезая спокойно между трубой и полкой, и спихивал чемодан с полки вниз. Его ловил проходящий скачок, причём ловил в обхват, без звука и исчезал с ним из вагона. Второй, проходящий мимо, забирал меня на свои плечи, превращая в «кран». В другом купе на плечах

нижнего «силового акробата» я двумя руками сдвигал баул тоже с третьей полки и отправлял вниз. Вернувшийся скачок на лету подхватывал его и уносил в противоположном направлении. Всё это происходило неимоверно быстро. Без специальной подготовки такие трюки сделать было невозможно. Как и цирковое дело, эти воровские приёмы требовали длительных тренировок и колоссальной сосредоточенности. Со стороны, ежели оценивать специальность маршруточников, то, пожалуй, она может показаться даже романтической, но меня такая романтика никак не привлекала. Да ещё Антип стал приставать ко мне со всякими непотребными нежностями, и перед Кировом я растворился в пространстве. То есть исчез с глаз долой, оборвался: был я — и нет меня. Недаром имел кликуху Тень. Хватит, и так они пасли меня три месяца. В Кирове сдался государству и был отправлен в местный детприёмник.

## НА СЕВЕР

Про кировский ДП, пожалуй, сказать особенного ничего не смогу. Ни хорошего, ни плохого. Да и в памяти моей осталось от него что-то серое. Под конец пребывания, то есть к следующему лету, подружился

я там с пацанчонком из Архангельской области по кличке Буба. С ним-то и бежал. Кликуху такую пацан заработал тем, что учил уроки вслух – бубнил. Предки его были лесосплавщиками. Почему их выселили первоначально в Сибирь, а затем на Урал, Буба не мог сказать. Отец его погиб в штрафбате под Курском. Матери с двумя малолетками позволили вернуться на родину, а Бубу по непонятным причинам сдали коптеть в кировский детприёмник. С тех пор он спал и видел свою Архангелогородчину. Он-то и уговорил меня драпануть с ним на север, в Устьянский край, к лесорубам, а уже оттуда, через Вельск – Вологду, дунуть на Питер.

Короче, как всегда, свалили мы из ДП с приходом тепла – в середине мая. Перед этим неплохо подготовились – накопили в двух схронах сухарей, сахару, соли – и пропали, провалились, смылись.

Опыт моих нескольких бегов пригодился. Мы рванули в обратную сторону от станции – к путям, где формировались грузовые составы, направлявшиеся на север. Один из них, состоящий из нескольких рабочих теплушек с металлическими печными трубами на крышах и большого количества платформ, загруженных мостовыми фермами, стоял уже под парами. Для нас – лучший вариант, какой только мог быть. Нам надобно быстрее исчезнуть из города. Обойдя состав с обратной стороны, мы двинулись

к теплушкам, надеясь найти хотя бы одну открытую и пустую, но таковой не оказалось. Из двух работных вагонов доносились разговоры. Буба, приставив ухо к стенке теплухи, вдруг сообщил мне:

— Слышишь, они бают по-нашему...

— Ну и что? Все говорят по-нашему!

— Да нет, по-северному, как моя мать, как я сам, — эти люди архангельские. Хочешь, я с ними поговорю?

— Нет, Буба, погоди — опасно. Давай ещё пошукаем, где сныкаться можно. Когда отъедем на хорошее расстояние, тогда и тараторь на своей архангельской фене. Нас здесь уже ищут.

Пока говорили, состав дёрнулся, и нам ничего не оставалось, как вскарабкаться на платформу с фермами и засесть за бревенчатыми опорами, на которых они стояли. И только мы успели всё это проделать, как поезд снова рванулся и медленно-медленно пополз вперёд.

Поезд двигался на север, в сторону Котласа. На два первых часа мы с Бубой застыли и не высывались, но к вечеру стало прохладней, и боязнь замёрзнуть заставила нас хоть как-то обустроиться на ночь. Обшарив всю территорию платформы, обнаружили много сосновой щепы, и только. Опоры под фермы, очевидно, рубили прямо на месте. Мы сгребли всю щепу к срубу передней опоры. Сделав из неё



гнездовище, забрались внутрь его и привалились к срубам. Он защищал нас от ветра, но не от холода. Ночью из-за холода почти не спали. Поспать удалось утром, когда нас чуть пригрело солнцем. Поезд шёл довольно скоро, почти без остановок. Проснувшись, поели и уснули снова в полном спокойствии — для вятского начальства мы уже недосыгаемы.

Разбудили нас два дядька в железнодорожных фуражках и робах с вопросами:

— Кто такие? Как сюда попали? Куда едете?

Поезд стоял на каком-то разъезде у небольшой реки. Дядьки из работных вагонов обходили платформы с проверкой — всё ли в порядке, и обнаружили двух спящих цуциков под фермами в дурацком гнездовище из щепы. Говорили дядьки по-архангелогородски: с вопросительной интонацией в конце предложения. Буба с той же интонацией по их фене донёс им, что рождением он с реки Устья-Ушья и едет к матке с сестрою и братиком, что батя его погиб под Курском, на дороге денежков нет, а я, его дружок, совсем без отца и матери, оттого он пригрет меня в своей деревне, если дядьки не погонят.

Мы замолились им, чтобы не гнали нас, а провезли до Котласа и сдали там милиции, коли так положено. А мать с Бестожево приедет да заберёт — там недалече.

— Дак ты с Бестожево? У нас с тех мест техник — второй начальник. Вон там на реке раков ловит. Выбraidтесь из своего гнездовища и дуйте к нему.

Техник оказался из Шангалы, что по дороге на Вельск от Котласа. По местным расстояниям село Бестожево от станции близко — всего километрах в шестидесяти. Шангалец пообещал разжалобить начальственного инженера относительно нашего путешествия.

Вечером нас пристроили в третьей теплушке среди ящиков с оборудованием и инструментом. Да ещё отвалили несколько поношенных ватников, большую миску горячей пшённой каши, чаю и велели не высовываться на станциях. Земляк Бубы объявил, что от Котласа мостостройотряд Северной железной дороги пойдёт в район Сольвычегодска — там строят мост через железную дорогу. А нам надо на запад, в сторону Шангалы-Вельска к кому-то прибиться.

Перед Котласом мостостроители выдали нам сухой паёк: пшено, чай, сахар, соль, — и оставили по ватнику. Ватники мы превратили в гуньки-телогрейки, отрезав рукава (так легче скручивать).

В Котласе техник устроил нас на грузовой поезд, уговорив сопровождавших архангелогородцев довести земляков хотя бы до Увтюги. Ночью перед Увтюгой товарняк затормозили на малом полустанке, и нам велели быстро смыться из вагона, так как на

станции шухер — НКВД шмонает составы: из каких-то лагерей сбежали зэки. Если нас обнаружат, никому мало не покажется.

— Дуйте в обратную сторону, справа через полтора километра находится куст деревень. Там переждёте.

Так мы с Бубой неожиданно-негаданно оказались в двух полуопустевших с войны деревнях, знаменитых своим старичьём: одна — древним Лампием, другая — ведуньей Параскевой.

## ЛАМПИЙ

Первая деревня, в которой мы ночевали только одну ночь, в округе считалась чудной. Колхозные поля в ней засевали по приказу районного начальства день в день. А свои огороды только по совету Евлампия, помещному Лампия — древнего мужичка, который уже давно стариковал на печи собственной избы.

По весне перед посевной деревня стаскивала его с печи, заворачивала в овчинный тулуп и выносила на крыльцо Евлампиевого родового дома. Сажала на скамью и спрашивала:

— Ну, как, Лампий, пора нам сеять али не пора?

Тот доставал из нагретого тулупа правую руку, мочил слюной указательный палец и выставлял его

на ветер. Одну-две минуты молчал, держа поднятую ладонь со слюнявым пальцем. Вся деревня замолкала в ожидании приговора.

– Не пора, родимые, не пора... Обождите, – говорил Лампий, опуская и пряча в тулупе свой метеорологический прибор. Его уносили на печь.

Через три-четыре дня Евлампия опять выносили на крыльцо. Он снова слюнявил палец и снова выставлял его на ветер. И вдруг в тиши рядов ожидавших сельчан раздавалось долгожданное:

– Пора, родимые, пора... Сажайте...

И только после этого его высочайшего разрешения деревня сеяла и сажала в своих огородах. Колхозное наполовину гибло, так как померзали семена, а своё, посеянное позже, выросло и давало благодаря местному барометру Лампию замечательный урожай.

## ПАРАСКЕВА

Во второй деревеньке приютились мы, или пригрелись, по-местному, в большой старой избе у древней бабки Параскевы. Про неё деревня хвалилась: «Наша старуха с языком до уха. Слушайте её, но не прислушивайтесь – иной раз такое снесёт, что мало

не покажется». Убедились мы в этом при первой же встрече на крыльце её избы. Вдруг без здоровканья обратилась она к нам — пацанятам, указывая своим лисьим подбородком на журчавшие кругом ручьи:

— Гляньте, вон, весна пришла — щепка на щепку лезет, вороб на воробке сидит.

А затем, прямо на крыльце, объявила:

— Ежели таскать чего или двигать что, то сами. У меня от спинной болезни ноги отпали, не стоят, по нужде на карачках хожу, самовар черпаками наливаю...

Уже в избе спросила, *откуда* мы взялись и куда землю топчем. Узнав, что добираемся до села Бестожево Устьянского района, обругала тамошних мужиков-плотогонов пьянью бесстыжею:

— Кормятся они не землёй, а лесом, валят его, плоты сбивают и по Устье вниз до железки гонят водою. Меня туда при царях горохах невестили, но, слава Богу, не вышло. У них и колхозов нет. Заправлят там лесхимпромхоз какой-то... Они, окромя плотогонства, сосны, прости господи, доят, как лешаки: смолу собирают — дикари прямо какие-то. Когда я увидала, как они сосны мучают, жениха побила да бежала от них. Если там что и делают хорошо, так это пиво варят вкусное, и то с участием поганого.

Из сеней проводила она нас прямо в прируб, где стояли две пустые металлические кровати. Выдала

два холщовых наматрасника, велела набить их сеном на сеновале, а после устройства жилья жаловать в избу к чаю.

В избе кроме нас оказался ползающий по полу в одной короткой рубашонке без штанов крошечный мальчонка, которого бабка Параскева обозвала последышем, явно внук или правнук её. Бабка, одарив нас чаем, объявила, что сегодня мамка последыша должна вернуться с Котласа и что она учёная, в колхозе счетоводом служит.

По приезде дочери или внучки с подарками сыну-ползунку бабка велела сразу не давать их, а сныкать:

— Пускай сам усмотрит-то среди взрослых вещей своё да попросит поиграть.

А когда внучок обнаружил игрушку и безо всякой просьбы схватился за неё, она обратилась к нам, как к свидетелям случившегося безобразия, с осуждением происшедшего:

— Не успел из жопы выпасть, как за игрушку схватился. В моём деوتчестве такого и быть не могло. Колобашку без разрешения в руки не возьмёшь. Поленце куклу изображало, и то по разрешению. Семи-то годков из тряпья сама себе Машку сшила да нянькала её, спрятамшись. А тогда что у девок-то было — три дороги: замужество, монастырь али с родителями бобылить. А теперь как, а? Вон матка-то его свою любилку к залётке военной пристроила,

так насвистел он ей пузыря — вишь, на полу кряхтит, встать собирается, ползать надоело.

Теперешним временем Антихрист правит, отсюда всё накося да покось — вон сплошные войны да потехи, кровью крашенные. Мужиков всех перевели, оттого и бабы шалуют. На залётку бросились, как мухи на мёд. Вокруг его срачиц хороводы водили, смехи да хихи строили. От заезжего кутака три девки забрюхатились. Урожайным оказался, вишь, трёх осеменил. А деревня-то рада-радешенька, прости меня, заступница бабья Параскева Пятница, три мужичка из них выползли взамен погибших. Один вон перед вами, вишь, попёрдывает. А залётка что — осеменил да полетел, как змей летучий... Так и не узнал, что трёх сыновей разным маткам оставил. Но самое дивительное: на деревне пустые девки понёсшим завидуют...

У бабки Параскевы мы гостевали четверо суток. Отработали хлеб-соль мужицкими работами: чистой её запущенного двора да столь же заброшенного колодца и заготовкой дров для русской печи. В деревянной бадейке в колодец, естественно, опускали меня. Из него я выгреб множество грязи и всяческих бяк. Колодец не чистили лет двадцать. Работая внутри него, я сильно озяб, и, чтобы не заболел, Параскева заставила меня выпить чаю с водкой. Так я впервые в жизни в доме деревенской ведуньи

(правда, по нужде) познакомился с нашим знаменитым «лекарством».

Пятым днём мы с Бубой опять чёпали по железнодорожным путям, чёпали почти весь день. На нашем полустанке ничего не останавливалось. К ночи подошли к Увтюге. Там уже всё было спокойно. Переночевали под колодою снегооградительного забора на словом лапнике и сене. От холода спасли ватники, отданные нам мостостроителями. Поутру на очередном товарняке двинули в Шангалы – столицу Устьянского края. Шангалы запомнились лозунгами-призывами вроде: «Шангальцы и шангалки! Будьте бдительны!» и: «Славу Родины умножь, что посеял, то пожнёшь!»

### «ПЕЙТЕ ПИВО, ВЫТИРАЙТЕ РЫЛО...»

От станции Шангалы, столицы Устьянского края, до Бестожево не менее шестидесяти километров добирались по-всякому на перекладных: машинах, тракторах, подводах, пешком. Через реку Устью переправлялись множество раз на старых изношенных паромах.

Поредевшие народом с войны путевые деревни кормились лесоповалом, рыбной ловлей и скудным



огородничеством. Суровый климат, тощие земли и ещё не ведаю что заставляли народ кучковаться в артели. В отличие от уральских бурндуков жили бедностью и людской добротой. Большею частью местного пространства заправлял леспромхоз. Возможно, поэтому жизнь в устьянских деревнях отличалась некой свободой в сравнении с совхозно-колхозными селениями.

Народ низовых деревень рассказывал, что на пути к пропойскому селу Бестожево стоит деревенька Верхопутье, что днями у них произойдёт престольный праздник и что они богаты источником замечательной воды, из которой к празднику варят пиво древним способом – так, как нигде более в России уже не варят.

Благодаря местным возилкам (так называют в этих краях шофёров), собственным ногам и везению мы оказались в Верхопутье накануне их деревенского праздника. Притопав на деревню, не обнаружили там никого, кроме ребячьей мелюзги, которая с испугом вытаращилась на нас.

На вопрос, куда делись взрослые сродники, они, повернувшись в сторону загона и леса, долго молчали. Только после Бубиноного торможения старшего тот, вынув палец из носу, указал им на лес и произнёс, не выговаривая букву «р»:

– На лугу пиво валят.

Во, интересная фигня! Как так – на лугу пиво варят? Мы двинулись по направлению пацаньего пальца, преодолев загон, и поднялись в лесок. Пройдя по нему метров сто, почуяли запах дыма и услышали характерное потрескивание костра. Протопав на запах по перелеску ещё сколько-то метров, оказались над большим, почти круглым, покрытым зелёной травой лугом.

То, что мы увидели на нём перед собой, пересказать и представить себе трудно. Поначалу даже испугались... Нам почудилось, что из нашего времени мы шагнули в какую-то легенду, сказку, колдовское место, где происходит загадочное ритуальное действо, управляемое шаманами, жрецами.

В центре колдовского круга, опираясь на три огромных камня, врытых в землю рядом друг с другом тысячелетие назад то ли ведунами, то ли природой, стояла здоровенная дубовая бочка, первоначально принятая нами за котёл. Из неё в пасмурное северное небо поднимался пар. С трёх сторон, с земли до верха камней, приставлены были мостки из тёса. По оси к каменному треугольнику, шагах в восьми-десяти, располагалось кострище из берёзовых чурок, с правой стороны которого находилась поленница, а с левой – множество уложенных пирамидой на льняном полотнище отборных, тщательно вымытых булыжников. С обратной стороны бочки, по обе

стороны мостка возвышались горка венков, сплетённых из стеблей сухого гороха, и колода перевязанных крестом пучков ржаной соломы с метёлками зёрен.

Поверх горловины бочки лежала поседевшая от времени доска с вырезанной на боковом торце полукруглой выемкой для палки-затычки, называемой стирем. Стирь — сердечник, ось, круглая прямая палка с заточенным нижним концом. Она проходит сквозь всю бочку точно по центру и плотно затыкает сливное отверстие, выбитое в днище бочки.

Из виденного на лугу мы сообразили, что варили пиво в деревянной бочке... булыжниками. Да-да, именно булыжниками — специально отобранными округлыми камнями, нагретыми до «заячьего цвета», то есть добела. В центре колоды-кострища раскаляли камни, затем специальными захватами забирали их из огня и поднимали по мосткам к горловине бочки. Внутри этой загадочной архитектуры находилось четыре человека. Зато шагах в тридцати от неё, почти на краю луга, стояла вся отогнанная от священнодействия деревня (в основном, в женском составе) с ведрами, бидонами, бутылками в руках. Руководил ритуалом строгий седой дед лет восьмидесяти с бородой, в красной нарядной косоворотке, подпоясанный плетёным шёлковым поясом. Смотрелся старик в этом пространстве прямо

каким-то жрецом или ведьмаком. Прислуживали ему два крепких молодых парня. Кострищем ведал ловкий инвалид-обрубок по прозвищу Деревянная Нога.

Поначалу действия дед надевал на стирь венок из гороха, поверх него – ржаной крест и погружал их в бочку. Его помоганцы, забрав из кострища своими захватами раскалённые добела камни, с двух сторон по мосткам поднимались к бочке и опускали их на затопленные венки. К небу взрывался пар. Как только пар остывал, дед снова надевал на стирь венки и крест, и парни снова опускали очередную порцию раскалённых камней. Так повторялось до тех пор, пока будущее пиво не начинало кипеть. Старик замедлял ритм работы, но следил за постоянным кипением. По ему только известным признакам определял готовность напитка и снимал с него пробу, поднимая стирь с помощью ритуального рычага – ножа, воткнутого в стирь и опиравшегося на топор, лежащий на доске. Ежели колдуну казалось, что пиво не готово, то всё повторялось сначала, и снова взрывалась бочка, и пар поднимался в небо.

Только после третьей пробы по решению пивного начальника-деда колдовство вокруг бочки прекращалось и к «святая святых» подпускались деревенские дольщики, принесшие сусло. Они выстраивались в очередь перед сливным жёлобом, и каждый,

в зависимости от количества принесённого сула, получал свою долю.

Главный пивовар, стоя на камне, своим незатейливым рычагом поднимал и опускал стирь, и солнечный напиток стекал по долблёнке в мерное ведро. Командир ведра — безногий инвалид благословлял на прощание каждого мужского или женского человека, наполнившего свой сосуд:

— Пейте пиво, вытирайте рыло, гуляйте спокойно!

Начальник огня — Иваныч, обрубок последней немецкой войны — и приютил нас. Спали мы в его пустой избе на лавках, вдоль стены. Семьи у него не было — жена умерла, сыновья погибли в сорок первом под Москвой. Утром, в честь праздника, хозяин налил нам по стакану колдовского пива с советом пить не торопясь:

— Оно крепко сварено — для мужиков, а вы пока пацаньё.

Этот древний напиток, посвящённый солнцу, пробовали мы впервые. Ничего подобного позже в своей жизни я не испытывал. Помнится мне, что в их языческом вареве кроме привычного вкуса солода, хмеля и воды присутствовал вкус дубовой бочки, гороха, ржи, камней, травы — всей природы Устьянского края — Северной Швейцарии, как обзывали архангелогородцы эти земли.

## ПЬЯНСКАЯ СТОЛИЦА

В день престольного праздника отчалили мы из Верхопутья в Бестожево на попутке — крепком «студебеккере». В деревне нарядно одетый народ украшал зелёные угорья пьянским шатай-болтаем. Возилка оказался родом из Шангал. Работал в управлении местных леспромхозов. Со станции поставлял в подведомственные устьянские деревни товары первой необходимости: продукты, лекарства, а заодно и почту. В дороге Буба спросил дядьку шофёра, не слышал ли он про его матку Пелагею Васильевну Устьянову, полтора года назад вернувшуюся на родину в Бестожево с малым братиком и сестрою. Дядька сказал, что слышал от сменщика полгода назад про какую-то женщину с детьми, приехавшую из ссылки домой в Бестожево, а дом её родовой оказался занят под управу сельсовета. Но что с нею стало потом, он не ведаёт. Буба сильно расстроился. Для отвлечения его от мрачных мыслей я задал нашему ангелу-хранителю — шофёру вопрос:

— Отчего Бестожево местные жильцы обзывают пьянской столицей Устьянского края?

— Обзывалка эта давнишняя. По легенде, деревня считалась когда-то лихой, разбойной да и пьянской. Закон в ней существовал для мужиков-лесосплавщиков: мужик должен или стоять, или лежать — сидеть

не имел права и считался бездельником. А главным гимном деревни была частушка:

Пьём и водку, пьём и ром.  
Завтра по миру пойдём.  
Вы подайте, Христа ради,  
А то лошадь уведём.

К вечеру мы въехали в Бестожево – красиво расположенную в излучине реки довольно большую по местным меркам деревню. Добрый возилка наш остановил «студебеккер» у главного места в ней – магазина. Магазин оказался закрытым, но в окнах ещё не погас свет. Шофёр, постучав в дверь, назвалсся, и ему открыла плотная приятная тётенька, наверное продавщица. Минут через шесть-семь он вместе с нею вышел на крыльцо и подозвал нас.

– Михалыч, какой из них Устьянов? – спросила продавщица.

– Вон тот, что выше.

– Боже мой, смотри, какой парнище вымахал, а был ведь вот таким Коленькой, – и показала рукой ниже колен. – Мать-то тебя не дождалась, уехала отсель. Дом ваш власть реквизиовала. Жить здесь им стало негде, да и начальники боялись брать её на работу после ссылки. Кормилась подёнщиной – грибами, ягодами: собирала и сдавала в пункт приёма.

Поначалу поселилась с детьми из милости у бобыля Макарыча в пристройке, но, намаявшись, решила податься к родственникам твоей бабки в Никольский район Вологодской республики. Там про неё никто не знает, муж погиб, может и устроится, да и крыша не чужая. Тебя искала по всем начальствам, письма писала, да и теперь ищет. Адрес свой оставила у Макарыча. Даже конверт с адресом, чтобы отправили с вестью, коли что узнают про тебя. А ты, вишь, свалился вдруг, да ещё сюда... Михалыч, отведи их к бобылю Фёдору Макарычу. Вон, смотри, с краю деревни дом стоит. Да и сам у него заночуй, а поутру с товаром разберёмся.

Так вместо дома Бубы-Коленьки мы притопали в дом старого Макарыча. Изба действительно оказалась древней – ещё не пиленой, а рубленой – с огромной глинобитной русской печью, с красным углом, где под киотом с Христом, Божьей Матерью и Николой Чудотворцем висели портреты Ленина и Сталина, вырезанные из «Огонька».

Макарыч, прознав, кто мы такие, достал из-за иконы почтовый конверт с маркой и написанным адресом матери Бубы и велел ему снять копию для себя, а в конверт вложить письмо для неё с сообщением: «Жив, здоров, бежал на родину в Бестожево, денег не имею, что делать далее, не знаю, ответь мне, твой Николай».



— Понял? Ну, так давай — калякай!

Да, нам не повезло. Оставаться в Бестожево не имело смысла не только мне, но и ему. Надобно было скорее снова возвращаться в Шангалы, а оттуда ему рвануть в Вологодчину к матери с братиком и сестрою, а мне — через Вологду — в Питер.

Наш возилка дядька Михаил тоже смекнул положение неприкаянности и согласился отвезти нас обратно, но только после возвращения в Бестожево с северных лесопунктов, которые обязан отоварить. Рано утром мы помогали разгружать машину сначала для магазина, а затем — для почты. В магазине работали весь день: сортировали, укладывали по полкам крупу, консервы, в подпол носили мясо, рыбу. Вчерашняя доброжелательница тётка Капа зарплату за работу выдала продуктами — сахаром, подсолнечным маслом, хлебом. Продукты в ту пору в этих краях считались гораздо важнее денег.

Три дня мы гостевали в древней чёрной избе деда Макарыча, не выходя из неё. Три дня мы слушали былины архангелогородского старика про житьё-бытьё крестьянствующих людишек в объятиях советской власти. Говоренное им запало в память какой-то отрёшённой манерой повествования сильно натерпелого человека: «Родился я в так называемом „рудном дому“. Сейчас говорят „курная изба“ — это тоже можно так принять. Рудный, вероятно, потому, что из

рудного леса построен. Самый крепкий лес – это рудовый лес. А откуда это, я не знаю, не изучал. Печка битая, вон, смотри: две семьи умещаются на ней.

Занимались сельским хозяйством в основном. Ну, сельское хозяйство у нас так себе... видели – косогоры. Дак с них много ль чего получишь хлебно-го-то... Чтобы кормить семью, пришлось нашим родителям другое ещё подспорье смекать. Вот, например, мой отец Макар Андреевич, мастеровой человек, до восьмидесяти шести лет жил. Самое ремесло его было в том, что он валенки катал. Дед его Ефим Иванович – шерстобит. Жернов у нас такой был ещё, как мельница, муку молот. Люди приходили, пользовали жернов-то. Отец ещё овчины делал – скорняжил, значит. Дядя Максим матёрый мастер был – дровни делал. Это такие рабочие сани, на которых лес возили, сено, дрова... Вот так...

Но многим семьям, в том числе и нашей, хлеба не хватало никогда. Я помню, редко когда хлеба доставало от старого до нового урожая – земля не хлебородная. Летом было такое время, когда кормились одной рыбой.

Лесом также раньше занимались, но в аккурате: валили только зимою. Зимою же лошадьми брёвна к реке волокли, готовили, значит. У нас в реках вода поздно становится в берега после половодья, как в этом годе. Дак, к моменту такому плоты сбивали и

по Ушье с плотогонами вниз до реки Ваги отправляли, а там по Ваге — до железки. Этим делом специальные семьи занимались — мастера по сплаву были. Как сейчас „кинй в реку — само плывёт“ — такого не было безобразия. Строевой лес берегли, он тоже служил нашим кормильцем.

А ещё у нас в деревне сеяли много репы. Репа товарным продуктом была. Сеяли в лесах, разрубали подсеку так называемую, жгли подлесок и там участок репой засевали. Репы — сочной, ядрёной — рождалось много. Даже сравнение такое с человеческим организмом существовало: крепкий, как репа, или: „Смотри, девка какая красивая, ядрёная, как репа“. Деревня-то кустовая была — центральная. Вокруг к ней ещё четыре малых деревни принадлежало. Оттого у нас две церкви стояло: одна большая, в два этажа, а другая — малая. Красивые такие — богатые. Первую — большую — снесли ещё в двадцатых годах, а во второй — маленькой, тёплой — Казанской Божьей Матери долго служили потихоньку, как говорят, покуда начальники страны не приказали закрыть и рассыпать веру.

При мне колокола с церкви снимали, увозили. Я, правда, не видел этого, но вот Алёшка Ушаков говорит, прошлого году мужик пришёл, паникадилу хрустальную колом разбил, так вот бают, что он хороший мужик.

В тридцать седьмом году увозили у нас священника, который беднее всякого человека был. Поп из простого народья, без образования совсем – в такой маленький приход обученного-то в академиях не пошлют. Как везли его на тарантасе ОГПУ, дак все жалели, конечно, что ни за что. За что, пошто – не знаем...

С тех пор, как село обезглавили, духовных занятий лишили, всё пошло-поехало. К тёмному прошлому повернулись. Народу одно осталось развлечение – пить горькую. Первые поселенцы-то в здешних лесных краях – беглые людишки из Московских земель, многие из коих разбоем жили...»

Дед до глубокой ночи жалился про бестожевские «безобразия». На третий день, когда забрал нас возилка Михалыч на свой «студебеккер», по выезде из села трое лесорубов остановили машину и сняли с шофёра налог на опохмелку, попрощавшись частушкой:

Нас побить, побить хотели  
На высокой на горе.  
Не на тех вы нарвались,  
Мы и спим на топоре!

## ЕВДОКИЯ ШАНГАЛЬСКАЯ

По прибытии в Шангалы Михалыч забрал нас в свой малый домишко, стоявший поблизости от железнодорожной станции, и поселил в чердачной светёлке. Жена его — курносая тётенька Дуся — оказалась замечательно доброй и срушной женщиной, промышлявшей портновским искусством в единственном местном швейном ателье. Из-за военной ранености Михалыча детишек у них не получилось, и жили они вдвоём, жили по-людски хорошо и чисто. В их городишке мы с Бубой даже по тому бедному времени выглядели крайними оборванцами. Мой бушлатик, который я уже перерос, от давишной жизни на мне стал гореть-рассыпаться. Соседские люди любопытничали у возилки — на каких дорогах он таких дырявых пацанов подобрал и что с ними собирается делать. Оттого по первости тётенька Дуся с Михалычем решили нас хоть как-то одеть. Свою фронтovou шинель — память немецкой войны — он отдал в руки курносой жене, и та из неё ловко выкроила и сшила два бушлатика на нас, утеплив их изнутри кусками домотканой шерстянки, даренной в нашу честь соседками. Бушлаты вышли настолько ладными, что мы с Бубой даже не поверили,

---

\* *Срушная* — умелая, «с руками» (*устар.*).

что они сшиты для нас, и какое-то время стеснялись их надевать. К настоящим хорошим вещам мы не были приучены.

Местная фуфюра, разважная райкомовская тётка с круглым значком Сталина на груди, которой Дуся шила наряды, увидев наши шинельные бушлатики, висевшие в горнице, заявила с завидками в голосе, что сиротская шантрапа такого товара не стоит. Тётка оказалась не здешней, а присланной начальствовать с юга, понять жалостливых северян она не могла.

Помнится ещё одна подробность: шинельных металлических пуговиц со звёздами на два бушлатика не хватило, и Буба взмолился, чтобы тётенька Дуся пришила их на его бушлат в память о погибшем отце. Я не возражал, про своего отца я знал только, что его до моего рождения увезли военные куда-то далеко-далеко. Да и вообще, к тому времени я был не слишком уверен, что найду кого-либо из родных в Питере. Шангальская портниха на мой бушлат поставила простые пальтовые пуговицы с двух наших старых бушлатиков. Да и лучше так — менее заметно, не буду привлекать внимания. Мне придётся ещё крутиться на воле и в неволе, пока где-то не остановится мой бег.

Через несколько дней наша добрая Евдокия предложила мне устроиться в качестве попоманца по

сортировке писем в почтово-багажном вагоне и на нём доехать до узловой станции Коноша, откуда идёт множество поездов на юг и юго-запад. Её знакомая почтальонша, вместо которой я должен был работать, везла из Шангал этим же поездом свою больную матушку в Архангельск на операцию и первое время почти не отходила от неё. Посторонние в почтовом вагоне находиться не имели права. Но начальник согласился пустить меня из-за беды своей работницы, при условии, что я превращусь в невидимку и не высуну свою рожу из вагона ни на одной из станций. Ну что же, мне — Тени — косить под невидимку сам Бог велел.

Дружку моему придётся в Шангалах дожидаться мамкиных дорожных денег, а я не мог не воспользоваться случаем ещё чуток приблизиться к моему Питеру.

Буба на прощание написал адрес своей бабки, жившей в Никольском районе Вологодской области; к сожалению, его записку при шмоне в Вологодской станционной легавке отобрали у меня мухоморы. На просьбу вернуть адрес моего кента они рявкнули — не положено. Что значит — не положено? Кто велел такое придумать? Зачем так обижать человечков, лишать их дружбы в этом холодном мире? Им что, станет теплее с того? Отныне я стал задумываться обо всём таком.

Расстался я с Бубой, Михалычем и наградившей нас своей добротой тетенькой Дусей, как со своими сродниками. Под конец даже всплакнул.

«ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ,  
НЕ СТУЧИТЕ, КОЛЁСА...»

На узловой станции Коноша, поблагодарив заранее своих путевых хозяев за помощь в жизни, сошёл я аккуратно с архангельского поезда с малыми грóшами в кармане своего нового бушлата и с трёхдневным запасом съестного в сидоре, собранным сердобольными почтальоншами для меня. Сошёл в мокроту долгого дождя и в толпу людишек, торчащих из всех щелей подкрышных вокзальных сооружений. Проникнуть в забитый людвой станционный зал даже при моих способностях не представлялось возможным и пришлось прятаться от дождя под крытой телегой с поклажей, терпеливо стоявшей у платформы.

Через Коношу шло множество поездов дальнего следования — на Москву, Ленинград, Вологду, на юг, восток, запад. Из них самый дешёвый — почтовый поезд Архангельск–Вологда. Хорошо бы на него попасть и исчезнуть из Архангелогородской области, да



оказаться в Вологодской, а там уже не страшно: можно и сдать — отвезут всё равно в Вологду. Главное — миновать станцию Ерцево. По рассказам, в Ерцево самый строгий контроль, у всех проверяют документы. К Ерцево подходит узкоколейная железная дорога, ведущая в страну энкавэдэшных лагерей, а в Ерцево находится управление этих огромных лагерей, доходящих на западе до озера Воже. Из этих мест часто бывают побегии, оттого такие строгости. А я — никто, у меня нет никаких бумаг, меня спокойно заметут, отмутузят и, не дай Бог, отошлют в Архангельск. Все мои старания полетят. Необходимо притыриться, попасть в вагон с собачьим ящиком, я ещё туда помещаюсь. Надобно приобрести билет хотя бы на два-три пролёта для начала. Правда, в Ерцево могут снять даже с билетом, если у тебя нет ксивы. А у меня откуда она, кто мне её даст...

С такими мыслями я переждал под телегою дождь. Когда дождь ослабел и толпа понемногу сосалась, мне удалось уговорить молодую тётеньку взять на меня билет до станции Явенга. На гроши почтальонш и от проданных каким-то шаромыжникам игральных цветух.

Место моё в вагоне оказалось занятым. Билеты продали повторно, и таких двойников набралось на вагон человек восемь-десять. Мне, мальку, велели не рыпаться, а сесть на мешок и сидеть спокойно сколько влезет, что я и сделал.

Перед Ерцево я на всякий случай перебрался в другой вагон и вышел со всеми на станции, а перед отходом поезда опять сел в свой по билету. Мой незлобивый вид среднеарифметического пацанёнка спасал меня. Я не привлекал внимания к своей персоне и проходил там, где всякого бы остановили. Перед Явенгой, притворяясь спящим, мне удалось приплюсовать к своему билету ещё два пролёта. Но в Вожеге лагаш высадил меня, посоветовав пройти назад шестнадцать километров. Фига с два! Спасибо за совет, я уже находился на территории Вологодской области.

## ВОЛОГОДСКИЕ ПОЕЗДУШНИКИ

На этой елово-сосновой остановке мною было решено застопориться на пару дней. На одноимённой со станцией речушке, протекавшей недалеко от неё, я соорудил из еловых веток хантыйскую ярангу и только начал собирать дровишки для костерка, как услышал хруст ветвей под людскими ногами. И вскоре увидел остановившихся передо мною двух здоровенных бывалых парнюг.

— Ты чего здесь творишь, шкет?

— Чего-чего... Да гнездовье поставил, не видишь,

что ли, чтоб поспать малость с дороги-то. А вы запретники какие или ещё кто?

— А медведя не боишься?

— Нужен я ему, да ещё летом. Я его не трогаю, и он меня не обидит. Человек-то может быть хуже медведя.

— А откуда да куда бежишь?

— Бегу издалека в далёко — из Сибири в Питер-Ленинград.

— Ух ты, какой! А как же тебя сюда на север закатило?

— Случаем занесло. Кент сманил в Архангелогородчину к родной мамке в дом, хотел и меня пристроить, но у мамки начальники дом отобрали, и им пришлось канать к бабке своей на жительство в Никольский район, а я дую в Питер, там матку хочу обнаружить, если повезёт.

— А ты паренёк бывалый, потёртый, я смотрю, — сказал старший. — Вишь, какой ладный шалаш соорудил. — Долго ты бежишь?

— Да уже четыре года будет...

— И всё по железке на змеях-крокодилах, а?

— Да, по железке летом, а на зиму в ДП сдаюсь — учиться. А что вы допросами занимаетесь, как фараоны переодетые?

— Ты, паря, поосторожней свою раззяву распахивай на крещённых-то, а то выпорем тебя еловыми

ветками. На твоих путях попадались тебе поездшники?

— Попадались в Свердловской области знатные майданники. Ловкие дяденьки, они на две области работали. Я какое-то время у них даже обучался. Но эти дела не по мне. Я лучше, ежели хотите, вам Сталина на грудях выколю или цветухи нарисую.

— Ух ты, какой умелый. А в Ленинград попасть хочешь?

— Хочу, конечно.

— Так пособи нам и скоро будешь в своём Питере. Атасник нам нужен, а ты годишься. Без третьего трудно.

Короче, уговорили они меня, сманили ещё раз в эту опасную игру, из которой я еле спасся, а они погорели, и боюсь, что навсегда.

— А вы-то, дяденьки, откуда взялись? — спросил я.

— Да вон у матери его гостевали и на тебя набрели, — ответил старший. — Завтра вечером почтовый на твой Лысоград идёт, так что соберись — за тобой придём с билетом до Вологды. Будь готов, пацан.

Назавтра мы повстречались против станции за складским сараем, как сговорились. Младший принёс от своей матки гостинец — завернутые в холстинку три круглые ржаные ватрушки, называемые по-местному шаньгами. После поглощения этой вкуснятины меня посвятили в дело.

Я по своему билету занимаю место в вагоне и «бдительно кемарю» около часу. На третьем перегоне после Вожеги, когда все в вагоне успокоятся, перейду в следующий через открытые скачками двери и буду там торчать у каптёрки лагаша, ближе к сортиру. Ежели услышу подозрительные шумы в каптёрке или звуки открывающейся двери — громко закашляюсь и постараюсь смыться в свой вагон. А если вдруг лагаш схватит меня, то скажу, что я из соседнего вагона, сортир там занят, а мне невтерпёж...

Вагон, в который меня поселили по билету, оказался забитым морячьем. Заняв своё боковое место, я почему-то спиной почувствовал, что не всё может ладно выйти у моих скачков. Коли весь поезд занят здоровыми поддатыми бугаями — это опасно: если что не так — они свирепеют.

Предчувствие моё, к сожалению, оправдалось. Соседний вагон также заполняли «морские волки», ехавшие в отпуск. Когда за Вожегою я там появился, вагон храпел всеми переливами ночного оркестра. Всё вроде должно пройти нормально. В темноте поначалу я почувствовал, а затем разглядел старшего в центре вагона. Он знаком велел мне стоять на стрёме у логова лагаша. Второй скачок явно приготовился к пробежке с целью забрать по дороге выставленные «углы». Я, прижавшись

к стенке, не снимал глаз и ушей со щели кондукторского обиталища. Из него слышалось сопение с прихрапом. Как вдруг в глубине вагона раздался басовитый голос: «Стоп, поганец, попался!» В щели лагаша послышалось шевеление. Я закашлялся. Дверь кондукторской резко раздвинулась, из неё выскочил хозяин и, оттолкнув меня к сортиру, бросился внутрь вагона.

— Полундра! — загремел басовитый голос. — Он меня полоснул!

Со всех полок посыпалась вниз матросня. Я рванул назад в свой вагон, буквально перескочив сцепления и бамперы на бегу. Слава Богу, двери были вскрыты ворами. В моём вагоне все спали. Один из спящих во сне звал:

— Ньюш, а Ньюш, где ты?..

Я притырился на своем сидячем месте. Через некоторое время кто-то бегом протопал по крыше вагона к хвосту поезда. Вслед топанию прогремело несколько выстрелов, разбудивших всех спящих. Да, старшакам-подельникам моим крупно не подфартило — напали на полосатиков.

Мне на ближайших станциях придётся свалить с поезда. Весь состав переполошился. Пошёл слух, что одного вора схватили, другой бежал по крышам вагонов и спрыгнул. Соседский лагаш, оттолкнувший меня к сортиру, может вспомнить про пацанка,

торчавшего у его двери, и заподозрит во мне атасника — они опытные, хитрые типари. На станции Пундуга я покинул этот злосчастный поезд, помогая маленькой бабушке сгружать узелки.

## ПРИЁМНЫЙ ДОМ ХОРОВОГО ПЕНИЯ

Через день, подъезжая к Вологде, в Оларево я попал в оцепление и снова стал собственностью государства, то есть воспитанником вологодского детприёмника, в котором кантовался до следующей весны.

Вологодский казённый дом отличался от предыдущих моих обиталищ неожиданной особенностью. Начальствовал в нём контуженный войной, бывший музыкантский или певческий человек — любитель хорового пения. Величали его дэпэшники, да и взрослые люди, «поющим лилипутом» — за крошечный рост и постоянное мычание революционных или партийных песен. На своей кругленькой личине носил он сталинские усы, которые никоим образом ему не подходили и смотрелись приклеенными. А если к усам прибавить курительную трубку, которой он ещё и дирижировал, то станет понятно, под кого носил лилипут. Одет наш начальник был в кителёк

и галифе с сапожками — модную в ту пору среди руководящего состава форму. А шарабан его венчала огромная офицерская фуражка с красной звездой на голубом околыше. Из-под фуражки на нас смотрели мелкие злобненькие глазки страшноватой шавки. Контузия его выразалась в периодическом почёсывании правого предплечья левой рукой. Несмотря на этот боевой дефект, он страсть как любил дирижировать.

И всё-таки главные его организационные и педагогические таланты сосредоточены были в области хорового пения. Наши отряды составлялись по голосам. Каждый отряд звучал по-своему, а в красные праздники или к приезду проверяющих вышестоящих особ нас загодя сгоняли в объединённый хор и дрочили две-три недели подряд каждый божий день. Этими показухами дирижировал сам лилипут. Под его ножки ставили специальный ящик, чтобы он не потерялся.

Особы покидали нас с довольством на личинах, а лилипут получал ведомственные похвальные грамотки и бережно вешал их под портретом любимого кормчего в своём кабинете.

Репертуар наш состоял в основном из песен про великого вождя товарища Сталина и его соратников, а также революционных и патриотических произведений. Утро после сна и уборки постелей



начиналось со спевки. Пятнадцать–двадцать минут вместо зарядки прямо в палате мы пели самые последние, самые новые вождистские вирши вроде:

Сталин и Мао слушают нас.  
Москва–Пекин, Москва–Пекин.  
Идут, идут, идут народы –  
За светлый путь, за прочный мир...

Или:

Согретые сталинским солнцем,  
Идём мы, отваги полны.  
Дорогу весёлым питомцам  
Великой советской страны...

Днём разучивали революционные песни и занимались с проходящими педагогами по хоровому пению. Перед ужином обычно исполняли под лилипутским маханием сталинской трубкой три песни: песню про вождя, революционную и военно-патриотическую. Учиться было некогда.

Вспоминается ещё одно событие, героем которого я стал. Накануне Дня Победы, восьмого мая, наш сводный хор в десять утра в главном зале ДП репетировал очередную серию песен про вождя. Я, вспомнив 1945 год, параллельно пению выгнул

профиль генералиссимуса из медной проволоки, и он пошёл гулять по рукам. Лилипут заметил со своего ящика что-то неладное в хоровом строю, в конце песни спрыгнул с пьедестала и отобрал у одного из шкетов проволочного вождя, завизжав неожиданно на него:

— Где взял, мерзавец? Кто сделал, говори!

Пацанок испуганно молчал.

— Молчишь, гад?! Петь все будете у меня до ночи, не переставая! Обед и ужин отменяю, если не скажете, кто сделал вождя из проволоки!

Мне пришлось сдать. Я и представить себе не мог, что сделал что-то противозаконное. В 1945 году все восторгались рукомеслу и похожестью проволочных вождей и кормили нас.

— Я запрещаю тебе, мелкий преступник, прикасаться к образу вождя. Кто ты такой — отщепенец, сын отщепенцев! Какое ты имел право изображать вождя проволокой? Образ великого Сталина могут создавать только заслуженные товарищи-художники!

— Да я в честь Дня Победы...

— Молчать! Я кому говорю — не прикасаться!

— Но мы же поём про вождя...

— Не возражать, поганец! В карцер его, в карцер на десять суток, немедленно!!! — визжал лилипут. И мощная охранная пердила, выдернув меня из строя за

шкварник бушлата, потащила в подвал. Так мне не случилось участвовать в праздничном хоре, посвящённом пятилетию Дня Победы.

В карцере я думал: почему же раньше мне разрешали изображать вождя, а сейчас запретили?.. Что произошло, что изменилось?.. Или только один лилипут так считает, а другие начальники разрешают? А может, что-то вообще другое начинается?

Вологодский ДП запомнился ещё одной достопримечательностью — кабинетом имени Макаренко, где воспиталы обрабатывали насельников. А против стола на стене в деревянной раме висел портрет великого революционного педофила, взиравшего на подопечных подозрительно ласково... Кстати, там, в приемнике, я услышал от старшаков, что Макаренко был не только великим воспитателем беспризорных, но и великим растлителем их.

Шел 1950-й год. Скорее бы наступило тепло, не вмоготу более играть в хорлопа и мозолить глаза о дрыгающегося лилипута. С зимы я стал готовиться к отбытию из Вологодской республики: оттрафаретил несколько колод цветух. Две из них поменял на поездную отмычку, сделанную местным техработником. За май месяц накопил съестных припасов и в начале июня бежал из этой энкаведэшной капеллы в сторону Питера с ненавистью ко всяческому хоровому пению на всю оставшуюся жизнь.

## ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ МЫТАРСТВА

До Череповца добрался на товарняках без особых приключений. Череповец — город огромного количества дымящих труб. Такого я не встречал даже на Урале. От этого города вполне можно было получить представление об аде, о котором я слышал от деревенских старух на своём уже немало пути. Кроме того, ад кишел большим количеством разнообразных охранников и легавых, во всяком случае в то время, когда я туда попал. На товарно-грузовой части станции сновало множество людешек в форме и без. Остаться незамеченным практически невозможно, да и время белых ночей не способствовало. Два дня я занимался разведкой, приглядывался к формированию составов в сторону Ленинграда и Прибалтики. На третий день решил действовать. В самое тёмное время белых ночей вышел на готовые к отправке в мою сторону поезда и стал двигаться вдоль одного из них, выбирая для себя возможную крышу. Как вдруг со спины раздался громкий рык откуда-то свалившегося охранника-мухобоя:

— Ты что здесь делаешь, шкет? А ну, остановись!

Я, не оглядываясь, нырнул под вагон и пробежал на карачках какое-то расстояние под ним, затем перебежал под другой состав, под третий и, вынырнув

из-под него, в сумерках увидел солдат, грузивших с военных машин в добротные вагоны-краснухи какие-то ящики. Услышав топот преследователя, я, пока солдаты сгружали очередные ящики с машины, подтянувшись на руках, закатился в раскрытый зев вагона и затырился меж ящиками. Секунд через двадцать услышал перед вагоном, как мой преследователь спросил у солдатиков, не видели ли они пацана с узелком за спиной, который только что исчез под их вагоном.

— А ты кто такой и как здесь оказался? На территории погрузки военной части находится запрещено. Срочно покиньте зону! Нам приказано стрелять по подозрительным объектам.

— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант! — обратился к командиру один из солдат. — Что нам делать с этим типом?

— Я не тип, я служу в линейной железнодорожной охране.

— Вы задержаны! — оборвал его лейтенант. — Объясняться будете в комендатуре, шагайте впереди меня.

— Товарищ лейтенант, я ловил сбежавшего мальчишку...

— Я вам повторяю — объясняться будете в комендатуре, а я вас обязан вывести с территории погрузки части и передать кому следует.

Смотри-ка ты, за мной охотятся. Лилипутский мыр уже раззвонил по всем станциям Вологодской области, что из его образцово-показательных рук сбежал хоть и малый, но враг, и его необходимо поймать, иначе всем хана. И только я хотел поблагодарить своих святых угодников за спасение, как заскрипели ролики закрывающейся двери моего вагона, и вскоре зацокали буфера военного поезда, двигавшегося на запад.

### ПУТЕШЕСТВИЕ НА СНАРЯДАХ

По мере того как мои глаза привыкали к темноте и голова получала возможность оценить обстановку, в которую загнала меня жизнь, я всё яснее начинал понимать, что из огня попал в полымя. Во-первых, вагон мой и весь состав принадлежит армии; во-вторых, я крепко-накрепко заперт и не ведаю, когда и где меня откроют; в-третьих, вагон забит какими-то крашеными тяжёлыми ящиками, в которых может быть всё что угодно, вплоть до снарядов. Получается, что от одной опасности смылся, а в другую попал. И куда деться-то... — некуда.

Кемарить пришлось на ящиках, прижавшись к стене вагона. Проходы между пряслами, в которых

находились ящики, были слишком узки. Поезд мой шёл практически без остановок, и сообразить, какие станции проносились мимо, было невозможно. В моем сидоре, слава Богу, имелись несколько сухарей, луковица, стибренная с лотка череповецкого рынка, две печёные картошки из моего берегового костерка на череповецкой Шексне и фляга воды. Такое богатство помогло скоротать более чем суточное пребывание в гостях у боевого обеспечения.

Через день ранним утром я проснулся от металлического скрежета дверных запоров. Скатился со своих ящиков вниз и сел под ними, упёршись гляделами в отъезжающую дверь. Солдат, открывший вагон, завидя меня, присел от припуга и с некоторым заиканием прошепелявил:

— Вот... э-это... да-а-а! За-аяц!

После некоторой паузы с удивлением спросил:

— А как ты сюда залетел, пацан?

Не сдвигаясь с места, только повернув голову направо, приказал:

— Велимеев, зови взводного, здесь заяц.

И пока не пришёл лейтенант, солдатик не спускал с неожиданного объекта своих глаз.

Лейтенант доставил меня в какое-то строение, где находились главные командиры — майоры, полковники. Там мою особу подробнейшим образом допросили: кто я, откуда возник, как оказался в их

вагоне. Я доложил всё как было, рассказал, что бежал из вологодского ДП от лилипута домой в Питер к матке Броне. В Череповце мухобой заподозрил во мне беглеца и стал преследовать. От него пришлось рвануть под вагон и с другой стороны притыриться в краснухе, пока солдаты загружали ящики.

Военные дядьки свели меня в столовку и накормили там молочным супом и гречневой кашей. И только в хавалке я узнал, что нахожусь под эстонским городом Таппой, чем был страшно удивлён и раздосадован. Вот уж совсем не мечтал попасть в страну Томаса Карловича Японаматери; не случись окаянства с преследованием в Череповце, добрался бы я уже до родного Ленинграда-Питера.

Перед тем как сдать меня обыкновенному НКВД, военные велели не хвастаться, что я ехал в вагоне со снарядами. Случись что, от меня бы и дыха не осталось.

## СТАРАЯ ТЫДРУКУ

Наркомат внутренних дел отправил беглеца с сопровождающим вместо Питера в город Тарту в эстонский детприёмник. По своему устройству тартуский детприёмник мало чем отличался от других



казённых домов. Пожалуй, он был самым чистоплотным, организованным, но вместе с тем самым жёстким заведением из всех, в которых я бывал. Начальница — белотелая, белокурая эстонка, коммунистка, по внешнему прикиду — комиссарша. Местные воспитанники обзывали её старой тыдрукой — старой девочкой. В кабинете над её столом, как положено, висело два портрета литографской работы: портрет И. В. Сталина с правой руки и Л. П. Берии — с левой. Допрашивала она меня почти ласково, с некоторым акцентом, окрестив за многочисленные побеги плохим мальчиком — куради пойкой. Обещала, если не исправлюсь, по знакомству устроить в детскую трудовую исправительную колонию:

— Она сздесь не талико... на нашей Мать-реке, ближе к вашему Чудскому озеру.

Она таки меня в колонию устроила, но только через несколько месяцев. Отучившись зиму и весну, к концу мая я готов был исчезнуть из этого стерильного заведения. В желании бежать из ДП ко мне присоединился курчавый пацан Илька (Илья), но предложил бежать не в Питер, а в Ригу. Там открыли школу юнг, в которую можно устроиться, а через два-три года стать «морским волком» и, главное, не зависеть ни от кого. Матку же свою буду искать, параллельно учась на моряка. Да и добираться ближе. Этим всем он меня и сманил.

Бежать из куратского детприёмника было почти невозможно, но помог случай. С целью устройства в ремесленное училище нас, нескольких отобранных воспитанников-пацанов, повели в ремеслуху для ознакомления с профессиями, на которые в нём готовят. В училище имеется общага, там кормят, одевают, учат. Всё, что требуется, дабы красиво сбегать сиротские рты из системы НКВД.

С этой экскурсии мы и смылись. Смылись через двор, на параллельную улицу, по ней двинули к железке в сторону запада. Вышли за город и пешем отшагали до станции Ропка. Только там сели на местный поезд, шедший до Валги. Промаявшись на нём, уже в сумерках сошли на сороковом километре и переночевали под колодой железнодорожных заградительных щитов на подушке из елового лапника. Утром прошли ещё четыре километра и на сорок четвёртом снова взгромоздились на подножки. Только к вечеру попали на пограничную с Латвией станцию Валга.

Мы, к сожалению, не ведали, что граница Эстонии и Латвии делит город пополам, и, естественно, не знали, где эта граница проходит. Думали, что Валга — целиком латышский город. Голодные были страшно. У Ильки в карманах нашлись какие-то копейки, у меня с собою была только колода рисованных карт, но нужна ли она здесь кому — я не знал. Первый раз за все годы моих побегов я не подготовился, не

накопил съедобы, не добыл фляги для воды, не имел спичек или кресала. Эстонцы-латыши восприняли нас с Илькой очень подозрительно и при первых попытках у булочной поменять картишки хотя бы на хлеб нас с курчавым сдали, то есть один из куратов привёл легавых, и мы оказались в милицейской дежурке, но самое обидное — на эстонской стороне.

Через день под конвоем нас вернули в тартуский детприёмник, там побили, как положено. Неделю держали в карцере, а затем меня подняли в кабинет к начальнице — старой тыдруку, которая под своими вождистскими портретами заявила, что по мне — куради пойку — скоро будет тосковать прокурор и что трудовая исправительная колония — это моё светлое будущее.

И действительно, в сентябре я оказался в обещанной колонии, что находится недалеко от их Мать-реки — по-эстонски Эмаиыги — и близко от Чудского озера, в старой остзейской усадьбе, где мне пришлось коптеть около года.

## КОЛОНТАЙ

Владелец усадьбы во времена оные — немецкий барон — построил её в виде крепости. Окружали нас

мощные стены, выложенные из местного камня, на их углах находились круглые башни, в которых торчали «попки» с ружьями, охранявшие колонистов от внешнего мира. К двум воротам, северным и южным, пристроены были из красного кирпича дежурки с печками и трубами на крышах. Сквозь одни наввозили, через другие вывозили. Три каменных амбара, вернее, скотский двор, ригу и амбар с узкими окнами-бойницами перестроили под жильё «сидельцев». В каждом амбаре прямо по центру возвышались три огромные печки-голландки, только не круглые, а квадратные, обитые крашеным металлом. Печки делили помещение на три части. От печей к двери с обеих сторон центрального прохода шли двухэтажные деревянные нары. Ближайшие к печкам нары занимали блатные во главе с паханом отряда. Поначалу я был поселён у дверей — в самом холодном месте амбара, но со временем мне удалось откатать права главного топила — в моих руках, благодаря учителю Хантью, горели сырые дрова, — поэтому меня повысили и переселили на третий ряд нар первого этажа у центрального прохода, чтоб был на стрёме.

Работа топильная, прямо скажем, не из лёгких — необходимо загодя натаскать со двора поленья на три огромные печи. Зимой сбить с них снег и наледь. Очистить печи от золы, вынести её и высыпать в зольный ящик. На кухне под присмотром

настрогать лучину для растопки. Топоры, ножи в палатах, естественно, не водились. Вставал я к запарке котлов – затемно – ранее всех, чтобы к одиннадцати-двенадцати дня нагреть печи. В дни лютых морозов приходилось их подтапливать ещё и по вечерам.

Колонистские подельники были гораздо суровее и жесточе, чем в разных приёмниках. Субординация у них соблюдалась абсолютно. Вся блатная цепочка хорошо прорисована по принципу «Крестов»:

- пахан;
- воры в законе;
- ссучившиеся воры;
- шестёрки;
- фраера;
- петухи-парашники.

Всё как в настоящем государстве, только под крышей бывшего скотского двора.

От унижений и побоев меня опять спасало ремесло. Колоду цветух, нарисованную в Вологодчине, мне удалось пронести в колонтай – сказался большой ныкальный опыт. Эта колода в первый же день попала в руки пахана нашего скотского амбара, и он к ней прикипел. На другой день за завтраком похвастался перед блатными других амбаров и велел мне изготовить ещё две колоды. Так я превратился в придворного художника паханствующих блатных. От рисования карт недалеко и до татуировок. Вскоре на

руке моего начальника появилась выколка — крест на могилке с надписью «Не забуду мать родную». Выполнена была по всем японским правилам восемью иглоками. Качество работы несравнимо ни с одной наколкой всего колонтая. Ко мне выстроилась очередь. Дрова к печкам я уже не таскал, мои руки берегли.

Умение делать профили вождей в этой трудовой исправилровке также пошло в ход. Пахан хвастался мною перед своими подельниками, собирал толпу непосвящённых и приказывал:

— А ну, Тень, сделай Лыску!

Или:

— Согни Усатого.

Я на виду у всех фигачил заказ — к тому времени я так наловчился, что гнул проволочных вождей с закрытыми глазами.

На государство я тоже работал по красильным делам. Лачил и красил мебель, которую изготавливали обитатели колонтая. Мебель предназначалась для внутреннего пользования в системе НКВД.

В декабре 1951 года я простыл и стал подозрительно кашлять, а так как про меня в досье стояла запись «слаб лёгкими», был спрятан в изолятор колонтая. На четвёртый или пятый день медбрат, курат-хуторянин между прочим, разбудил меня, сказав, что за мною пришли, помог одеться и вывел из палаты,

сдав охраннику. Тот проверил по бумаге мои «кликухи» и велел идти перед ним в контору начальственного управления колонная, находившуюся в барском доме. Пройдя вестибюль по диагонали, мы остановились в коридоре у первой двери. Вохрик, приняв стойку, уважительно постучал в роскошную филечатую дверь. Ему велели войти, вернее ввести меня. Открыв дверь, мы с ним вместе оказались в бывшем баронском кабинете, стены которого были одеты в тёмные деревянные панели, отделанные резными филёнками. Потолок того же тёмного дерева, кессонированный резными балками. Я, забыв про всё, застопорился, разглядывая это богатство. Вдруг на меня заскрипел начальственный голос:

— Что зыришь, пацан? Нравится?

Я опустил гляделы с потолка и увидел перед собой незнакомого военного дядьку в голубом оперении на погонах и фуражке, лежащей на зелёном сукне столешницы. На погонах красовалась одна звезда. «Майор, — подумал я. — И зачем я ему нужен? Я для него ведь никто». Вертухай за моей спиной отдал честь и исчез за дверью, оставив меня одного подле громадного тёмного письменного стола баронского происхождения и высокого голубопогонника за ним.

Майор сел за стол, положив перед собою какую-то папку, и, подняв на меня свои бесцветные, стеклянные глаза, спросил:

- Фамилия?
- Кочергин.
- Имя?
- Эдуард.
- Отчество?
- Степанович.
- Кого из родных своих помнишь?
- Матку.
- То есть мать?
- Да.
- Как зовут её, помнишь?
- Матка Броня.
- Бронислава, да?
- Да.
- Кого ещё помнишь?
- Брата Фелю.
- То есть Феликса, да?
- Да.
- А ещё?

Я молчал. Кого я ещё мог помнить? Крёстного Янека и своих русских тёток Дуню и Настю из моего глубокого детства или бородатого старообрядческого деда-попа, больно ущипнувшего меня за задницу. А ещё моего названного братана Митьку, съеденного чахоткой. Воспоминания о них быстро прокрутились в моей голове, но говорить о них я не стал. По опыту знал – чем меньше фараонам говоришь, тем лучше.



— Ну, чего молчишь? Не помнишь?

— Не помню.

— А помнишь такую фамилию — Одынец?

Одынец. Какое странное слово... Одынец, огурец, капец... С ненавистной для меня буквой «ы». Долго я её осваивал, когда стал познавать русский... Нет. Я не помнил этой фамилии.

— Отчество своей матери помнишь?

Я попытался вспомнить моё польское детство, но память моя не зафиксировала никакого отчества матки Брони.

— А про деда по матери — помнишь? Как его звали?

В каком-то тумане своей памяти я вспомнил весенний солнечный день, вокзал, поезд, себя в колупанском возрасте в руках матери, передающей меня с подножки вагона какой-то старой тётеньке в светлых одеждах, называющей меня Эдвасем, внучком. Но вокруг нас никаких дедов не стояло. Странно, как я запомнил эту далёкую картинку из своего начального бытия на этом свете.

Но как звали мою польскую бабу, тоже не помню. Многим позже узнал я от своей матки, что деда звали Феликсом, а по отчеству он был Донатович, и брат мой, умерший в дурдоме от воспаления лёгких, был назван в честь него. Феликса Донатовича в начале тридцатых арестовали в связи с «делом

промпартии», как инженера-вредителя, и расстреляли. Так что на вокзале города Киева, куда привезла меня трёхлетнего матка Броня показать своей матери, моей бабке Ядвиге, его и быть не могло.

— Польский язык помнишь? — спросил меня майорский человек. — Говорить сможешь?

Какой неожиданный вопрос.

— Разумею, наверное, а говорить не говорил с довойны, — ответил я ему неуверенно.

А может, уже и понимать перестал — сколько времени прошло. Да и что он так меня вытряхивает? Что я такого совершил? Зачем ему моя matka, бабка, дед? Переводить куда захотел? Анкету полирует?

Вдруг майор встал из-за стола, достал планшетку, оттуда вытащил какую-то бумагу и аккуратно уложил её на столе, ошарашив меня сообщением своего информбюро.

— Так вот, Кочергин-Одынец Эдуард, твою matку мы нашли и днями отвезём тебя к ней в Ленинград.

Я окаменел от неожиданного приговора, почему-то вытянулся в струнку перед ним, чего никогда не делал и даже не ведал, как это делается. Затем зашатался — закружилась голова — и чуть было не рухнул на пол.

— Ты что шатаешься? Стой! — крикнул он на меня.

Я шагнул назад и осел на стул подле стены. В глазах моих вращались круги. Я ничего не видел, не понимал — быть не может, фантастика!

«Те бе по вез ло, те бе по вез ло, — слышалось в моей башке. — Те бя от ве зём, те бя от ве зём...»

Пришёл я в себя в охапке у вертухая, он тащил меня от голубопогонника по вестибюлю баронского замка назад в изолятор. Простудная болезнь дала себя знать. Бредил я целых два дня с температурой под сорок.

За дней десять до Нового года меня перевели из изолятора в скотский двор, посчитали здоровым. Собственности, как понимаете, я не имел, и собираться на отъезд из колония мне было не нужно. Главный надзирало сообщил, что через две недели все мои документы будут прописаны, после чего меня повезут в Ленинград. За этот срок долги перед братвой я обязан выполнить. Главное — закончить портрет Усатого для Толи-Волка, пахана из среднего «амбара», начатый ещё до моей болезни. Кроме того, необходимо было напечатать шесть колод цветух, по две для каждого отряда. Пришлось мало спать и сильно напрягаться.

Уезжал я в мою новую неизвестность чистым — долгов не имел ни перед кем, оставив по себе память — портрет Отца Народов на груди соседского пахана Толи-Волка, шикарного щипача, между прочим.



## ПЛОЩАДЬ УРИЦКОГО

Наш чухонский поезд пришёл в Питер затемно. Колонтайский экспедитор, по обозванию Мутный Глаз, смесь латышского стрелка с эстонской революционеркой, растолкал меня минут за двадцать до остановки. Времени хватило только на галюнные необходимости и пайковый завтрак. Спросонок я ещё не осознавал, что со мной происходит, куда меня везут. Только когда поезд остановился и лагашкондуктор открыл дверь вагона в холодную темноту январского утра, я понял, что это подлинная реальность. Теперь жизнь моя может измениться, и из подворыша-скачка, пацана-майданника, колониста-татуировщика я выйду, как говорили мои колонтайские подельнички, в стопроцентные фраера. Одним словом — житуха повернётся совсем в другую сторону. Мутный Глаз, привёзший меня для сдачи питерскому НКВД, вцепился в мою руку костлявыми пальцами и тащил по перрону и майдану до самого трамвая, не ослабляя хватки.

— Отстегну, как доставлю и сдам тебя под расписку на Урицкого ленинградским начальникам и твоей

матке Броне, как ты её именуешь, — объяснил он мне свою строгость.

Он не понимал, что я нашамался за двенадцать лет казённых домов, милицейских дежурок, ночёвок в сене и соломе совместно с крысами-полёвками, подвижных составов всех сортов, колонтайских охранников с экзотическими кликухами вроде Чурбан с Глазами или Пень с Огнём и прочего, и прочего. Он не понимал, что я обрадовался, когда разыскали в Питере после отсидки в тюрьгах мою матку Броню (она «отзвонила чирик» по 58-й статье за шпионство). Я мог бы смыться от него в сутолоке огромного вокзала или тем более в трамвае без труда — мне, скачку, это было нипочём, но у меня был интерес к будущей неизвестной свободе. Что стало бы со мною в блатной жизни, я уже знал.

В забитом рабочим людом трамвае мы ехали долго — из ночи в утро и сошли с моим экспедитором в синем холодном свете на какую-то широченную улицу против огромного, обелённого зимой сада. Сквозь деревья виден был силуэт длиннющего дома-барака, он напоминал эстонскую (остгейтскую) крепость, в которой находилась моя колония, только богаче и величественнее во много раз. Посередине этой крепости красовалась башня-вышка, украшенная колоннами, — наверное, для специальных охранников.

— Что за крепость прямо в городе? — спросил я своего сопровождающего.

— Морское Адмиралтейство. Видишь, — шпиль с кораблём, — сказал он, подталкивая меня вперёд, к тротуару.

Через малое время мы оказались на углу улицы, по которой тоже пилили трамваи и сновало множество спешащих куда-то людей. Перед моими бродяжьими зенками возникло огромное пустое снежное пространство, окаймлённое богатящими домами с бесчисленными колоннами. В центре этого белого поля, на котором могла разместиться целая армия энкавэдэшников, торчал высоченный столб. На верхней площадке его стоял тёмный крылатый дядька-ангел с крестом в руке. «Что за невидаль такая?» — подумал я, переходя впервые в жизни по зелёному фонарю большую улицу. В этой звездастой стране вдруг какие-то церковные ангелы на верхотурах.

За столбом вытянулся дом-дворец — колонна на колонне, колонной погоняет. А на крыше выстроились фигуры ряженных вертухаев, как караульные чурки в зоне на вышках. Мы пошли по правой стороне этого великанского плаца, вдоль жёлтой высоченной стены округлого домины, поставленного в давние времена в честь воинов-гулливеров. Мутный Глаз сразу выпрямился, принял стойку «смирно» и замаршировал, дёрнув меня, глазевшего на всё это

диво, за собой. Когда дом, мимо которого мы шли, он обозвал Главным штабом, меня охватила бесконечная тоска: неужели снова придётся объясняться с фараонами или даже с самим прокурором за многочисленные побеги из детприёмников и колонтаев в этом их штабе. И мне стало зябко в моём казённом потёртом бушлатике на огромной нелюдской площади, окружённой со всех сторон домами-дворцами вождей-прокуроров.

По нашим пацанским понятиям, прокурор – самый главный начальник над человеками, как царь, но цари отошли в сказку, а прокуроры остались. В блатном мире их кличут дворниками. Может быть, в честь этих дворцов, где они паханствуют?

Мутноглазый всю бесконечную дорогу держал меня своими костистыми клешнями за запястье правой руки. Проходя мимо гулливерской арки, ловко соединявшей две одинаковые полукруглые домины, я увидел огромные лепные украшения на стенах. Оружие, доспехи, шлемы. Меня поразили гигантские, подавляющие размеры всего этого. Но почему-то я подумал, что с них можно будет снять рисунки для выколок блатным клиентам. За аркой, перед огромной дверью с энкавэдэшной гербовой вывеской, курат отпустил мою руку, чтобы достать папку с телегою на меня из своего кожаного швабского портфеля. Дверь оказалась такой тяжёлой, что



ему пришлось открывать её обеими руками, поставив портфель на снег. За первой дверью была вторая, а там охрана — два энкавэдэшных громилы в чистой новенькой форме с одинаковыми лицами и наркомовскими усиками, как будто кто-то их выколол по трафарету. Мой начальник почему-то снял с головы эстонско-латышскую шапку, пригладил свою редкую паклю и протянул им папку с документами. Охранники, поковырявшись в ней, впустили нас за барьер и показали на мощную дубовую дверь. Открыв её, мы попали в просторную залу, напомнившую мне чем-то многочисленные милицейские дежурки, которые я перевидал от Сибири до Эстонии, только во много раз больше, богаче и чище. «Амбец пришёл, вконец уроют», — подумал я, оказавшись в главной дежурке фараонов-гулливеров. Но ничего страшного поначалу не произошло. Велели сесть на дубовый диван слева от входной двери — ближе к окну. Мне повезло, я устроился рядом с громадной горячей батареей — по дороге основательно подмёрз. Отогревшись малость, стал рассматривать энкавэдэшную обиталовку. Зал с высоченными потолками поделён был массивной дубовой стойкой на две части — легавую и общую. Две двери находились на моей, общей стороне, две — на милицейской. Все стены дежурки обшиты были дубовыми панелями выше моего роста. У стены и в простенке окон тоже стояли тяжёлые

дубовые диваны, похожие на вокзальные, только на спинках их были вырезаны не буквы МПС, а щит и меч.

В легавой части, подле стойки, за письменным столом сидел дежурный капитан – суточный хозяин главных сеней фараонского штаба. Но первое, что бросилось мне в глаза в этом великанском зале, – это два портрета, глядевшие друг на друга. Между двумя окнами с видом на площадь висел портрет вождя в белом кителе со звездой генералиссимуса под воротником и знакомым мне улыбочатым прищуром мокрушника. Такой богатый портрет я видел впервые. Сработан он был чисто живописным рисовальщиком – видать, знатным. Я даже встал и подошёл к нему, чтобы ближе рассмотреть, как он сделан. Дежурный, заметив мой интерес к портрету, сказал не без гордости:

– Ловко рисован, а? Живой прямо!

Я с ним согласился. Если бы он знал, что я пяти блатарям-уркам расписал Усатого! Двоим на предплечьях и троим на груди. Один из воров сказал мне по секрету, что «Ус» – свой, то есть наш, крещённый крестами, и что он имел несколько ходок. Где они сейчас, эти меченные моими вождями-оберегами воры?

За спиною отглаженного капитана висел портрет Козлобородого – Феликса Эдмундовича Дзержин-

ского — такого же размера, как портрет вождя. Глядя на него, я вспомнил, как ещё малолеткой в войну, будучи воспитанником детприёмника НКВД города Омска, ночью под Новый год, втайне ото всех, в зале, где стояла ёлка и висел портрет родоначальника ЧК, — обратился к нему по-польски (я тогда ещё говорил по-польски) с просьбой вернуть мне мою матку Броню и моего старшего брата Феликса — тёзку его, по-домашнему — Фелю, за что поклялся Маткой Боской исправиться и стать показательным воспитанником. Но он не откликнулся.

Суточный хозяин главной штабной дежурки долго проверял папку с векселями\* на меня. Иногда спрашивал о чём-то экспедитора, стоявшего за стойкой с общей стороны. В конце морокования встал из-за письменного стола с одной из бумаг и пошёл к двери. «Наверное, за печатью легавого прокурора, начальника всех колонтаев эсэсэрии, — подумал я. — Накладную на меня оформляет. Надо ведь отпустить возилу в Чухляндию».

— Кайки, пойка\*\*, — подмигнул мне вдруг Мутный Глаз, — скоро станешь местным, ленинградским.

И, подойдя близко, впервые по-доброму похлопал меня по плечу.

---

\* *Векселя* — здесь: документы (блатн.).

\*\* *Всё*, мальчик (*эст*).

— А мать-то когда приведут? — спросил я.

— Инструкцию тебе внушат, как жить, и приведут. Не бойся. Всё — кайки! Ты свободен!

Как только в дверях появился капитан, мой эстонский желатель превратился снова в латышского стрелка. Получив бумагу из рук начальника, упрятал её в портфель, щёлкнул каблуками по-военному, круто повернулся через левое плечо и вышел из зала, не попрощавшись со мной и так и не увидев своим мутным глазом мою матку Броню.

Капитаново наставление оказалось коротким. Он велел мне на воле нигде никогда никому не говорить, где я был и откуда вышла моя мать, иначе нам станет худо и никуда мы от них не денемся. Накалякав какую-то бумаженцию, отдал её рядовому легавому, шнырявшему из двери в дверь. Встал из-за стола, облокотившись на свой барьер, показал мне рукой на открывающуюся дверь и неожиданно для меня сказал:

— Вот твоя мать.

С правой стороны от портрета Усатого из громадной дубовой двери вышла тётенька — очень худая и очень красивая, с шапкой пшеничных волос, уложенных венчиком вокруг головы. Она осторожно шла ко мне против света, по диагонали. Смотрела на меня большими серо-голубыми удивлёнными глазами и что-то говорила, но что говорила — я не понимал.

Язык её был мне знаком, я знал его в малолетстве, но забыл, забыл... Я растерялся. Встал с огербованного дивана, почему-то спрятал руки за спину и оцепенел.

— Ты что ему пшекаешь? Ботай с ним по фене, он в этом языке больше разбирается, — сказал матке чистенький капитан, наблюдавший картинку из-за своей дубовой стойки.

«Что это он чушит матку-то, во гад легавый!» — подумал я, приходя в себя. Она, вздрогнув, остановилась перед ним, как бы что-то вспоминая, и, оправив свои пшеничные волосы, вдруг вежливо, но по-нашему спросила:

— А вы, гражданин начальник, на моего пацанка какую-нибудь ксиву дадите?

Тот, поперхнувшись, со злостью ответил:

— Я не гражданин начальник, я товарищ капитан. А на него что положено, всё получите.

Товарищ, товарищ — у нас все товарищи. Я вспомнил, как в начале войны в городе со странным ордынским названием Куй-Бы-Шев меня водили в дурдом на допрос к врачу, — там уже находился мой брат Феля. По длинному коридору с зарешёченными окнами два усатых санитаря, похожие на всех наших вождей сразу, волокли за руки по полу маленького морщинистого старичка с бородкой, кричавшего им писклявым голоском:

— Люди вы или товарищи?!

Они встряхивали его, как тряпку, после этого крика и снова волокли...

По окончании оформилки векселей, выходя из штабной дежурки, я посмотрел на портреты вождей и подумал, что Железный Феликс всё-таки вернул мне мою матку, а Фелю не спас. Феля умер от воспаления лёгких зимой сорок второго года в сумасшедшем доме того самого Куйбышева.

Я не помню в подробностях, как мы вышли из царства фараонов. Помню только, что пошли прямо по диагонали через всю снежную громадину Урицкой площади к центральному столбу с ангельским дядькой и замёрзшему дворцу царей с танцующими колоннами и оледенелой охраной на крыше.

Мы с матерью, не сговариваясь, шли очень быстро, вероятно, нам хотелось скорее отойти подальше от энкавэдэшного парадняка. Сбавили ход только у цокольного камня ангельского столба. Я впервые оглянулся назад. Издали арка жёлтого Штаба напоминала парадный китель главного военного прокурора из какого-то кино или сна, красиво расшитый рельефными знаками войны и насилия. Вместо фуражки над мундиром нависла шестёрка чёрных лошадей с двумя водилами по бокам. Лошади тянули чёрный возок со стоящей в нём крылатой тёткой, в руке которой торчал «двуглавый кур». «Что за кино чудное в этой эсэсэрии? Может быть, это знак

прокурорской власти — тётка на древнем воронке? Да и на арке самой ещё две „крылатки“ с венками благословляют мечи с топорами — полный атас!» Пока я отрывал невидаль, матка ушла вперёд, в сторону Адмиралтейской крепости. Я догнал её и услышал, что она что-то говорит на своём ласковом языке, говорит сама себе. А что — я не разобрал. Потом понял. Она идёт и молится родным польским богам.

Трамвайная остановка находилась как раз против Адмиралтейства. Кроме нас и закутанной старушки с шавкой на руках на остановке никого не было. Подошёл трамвай. Мы сели во второй вагон. Если не считать кондуктора, вагон был пуст. И только для нас она объявила, что следующая остановка — Биржа. Я спросил матку, далеко ли нам ехать.

— До твоей родины всего пять остановок, — улыбаясь, сказала она, смягчая в словах все твёрдые звуки.

Сквозь глазок в ледяной проталинке окна я впервые после двенадцати лет отсутствия в Питере увидел оледенелую белую Неву с ещё одним громадным мостом напротив нас и Петропавловской крепостью с левой стороны. Таких огромных просторов внутри городов я не видел нигде, начиная с моей детприёмовской Сибири и кончая колонтайской Эстонией. Первое ощущение странное — какой-то звон в ушах от этого громадного пространства. Матка что-то говорила мне по-русски, но я, шарахнутый всем

увиденным, плохо соображал. Единственное, что запомнил из сказанного в этом замершем, пустом трамвае:

– Сын, будь осторожен, никому не говори, что с нами было. В этой стране легче посадить человека, чем дерево.

Я вспомнил капитаново наставление, и мне снова стало зябко.

Петроградская родина оказалась более ласковой, знакомой, привычной, чем давящий, начальственный центр города. Не все дома восстановили после войны, были заметны следы бомбёжек, но по улицам ходили нормальные человеки, некоторые из них даже улыбались, глядя на нас с матерью. Рыжая тётя со сказочным именем Ядвига открыла дверь на третьем этаже старинного дома на Ропшинской улице и, увидев меня, что-то залепетала по-своему, часто повторяя: «Матка Боска, Матка Боска».

Просторная комната с двух окнах с печью-камином белого кафеля в углу была чисто убрана. От натопленной печи шло тепло. Под старой лампой с тремя крылатыми пацанятами, держащими по три подсвечника, стоял овальный стол, накрытый к обеду. Среди простой белой посуды возвышался старинный подсвечник со свечой. В правом углу, как в деревенских домах, висело изображение незнакомой мне Божьей Матери, которое Ядвига называла Маткой



Боской Ченстоховской. На угловом столике под ней в высокой тёмной вазе стоял букет каких-то красивых метёлков. Тётки почему-то величали эти метёлки пальмами. За высоким широченным шкафом была спрятана кровать, а против неё, у другой стены, размещалась оттоманка, покрытая красивой полосатой зелёно-красно-чёрной шерстяной дорожкой. Простенок между окнами занимал шкаф со старинными книгами и бюстом какого-то польского поэта. Для меня всё увиденное было настолько неожиданным, что я запомнил это на всю жизнь. Такие картинки я видел только в кино, и то редко, — нам больше показывали фильмы про революцию и войну. Комната принадлежала тётке Ядвиге. Наша с маткой квартира на четвёртом этаже после посадки моих родичей отошла к «прокурорам». И теперь нас по первости приютили питерские «пшеки».

Потом с «дзень добры» в комнату вошёл высокий старик, оказавшийся моим крёстным. Пока matka с Ядвигой хлопотали на кухне, дядька Янек рассказал мне, как я путешествовал под столами в его мастерской.

Обед был сказочным. Крёстный Янек зажжёт свечу и поднял рюмку за амнистию — так я перевёл для себя сказанные им слова. Половину из того, что они говорили по-польски, я не понимал, в голове у меня всё перемешалось. Я ещё по-настоящему не соображал,

в каком мире нахожусь, чувствовал только какое-то стеснение между собою и матерью. Мы были подельниками по несчастью. И сейчас осторожно приглядывались друг к другу. Наверное, она тоже до конца не верила в то, что случилось.

Я отключился прямо за столом. Тяжёлый день и вкусная еда — пельмени в свекольном бульоне и чечевица с морковью — сделали своё дело. Матка уложила меня на оттоманку, и я сразу же полетел в пропасть. Как долго я летел, сказать не могу. Помню, что снова очутился на площади Урицкого, в Главном Штабе, откуда нас с маткой Броней выкидывают прямо в сугроб из фараоновой парадной два амбала-близнеца. Мы поднимаемся и бежим по замороженной площади к трамваям, в сторону крепости со шпилем и корабликом на нём. Добежав до середины громадного плаца, у столба с крылатым дядькой мы услышали какой-то шум за спиной. Оглянулись — за нами погоня. Целая армия великанов-мусоров — в древних военных доспехах, с красными звёздами на тульях фуражек, вооружённая щитами, мечами, копьями, топорами со стен арки Главного Штаба — мчится на нас. Впереди на гигантском гранитном столбе летит дежурный капитан с огромными чёрными крыльями за спиной и чёрным мечом в руке. Он громко кричит матке:

— Ты что ему пшекаешь? Ты с ним по фене, по фене!..

Мы прибавили скорость.

Я снова оглянулся в страхе — с верхотуры арки прямо на нас сорвалась шестёрка чёрных лошадей, запряжённых в древний воронок, погоняемая лупоглазым прокурором. А от стен дворца отделились многочисленные колонны и вместе с фонарями стали окружать нас, сжимая пространство. Мы побежали ещё быстрее по оставшемуся свободным коридору к спасительному золотому кораблику. Вдруг капитан со своего верха приказал:

— Стой! Стрелять буду!

И все заиндевелые вертухаи на крыше царского дворца враз повернулись к нам, подняли длинные винтовки и щёлкнули затворами.

Я рухнул на колени в снег и, перекрестившись дланью, закричал:

— Матка Боска! Матка Боска! Спаси и помилуй!

После чего в ужасе и поту проснулся. Меня трясло. Надо мною стояла матка Броня и говорила мне по-польски:

— Co z tobą, mój drogi synku? Co ty krzyczysz? Wszystko będzie dobrze. Jesteś jedynym mężczyzną, w rodzie, i powinienes żyć».

---

\* Что с тобой, дорогой сынок? Что ты кричишь? Всё будет хорошо. Ты один мужик в роду и должен жить (польск.).

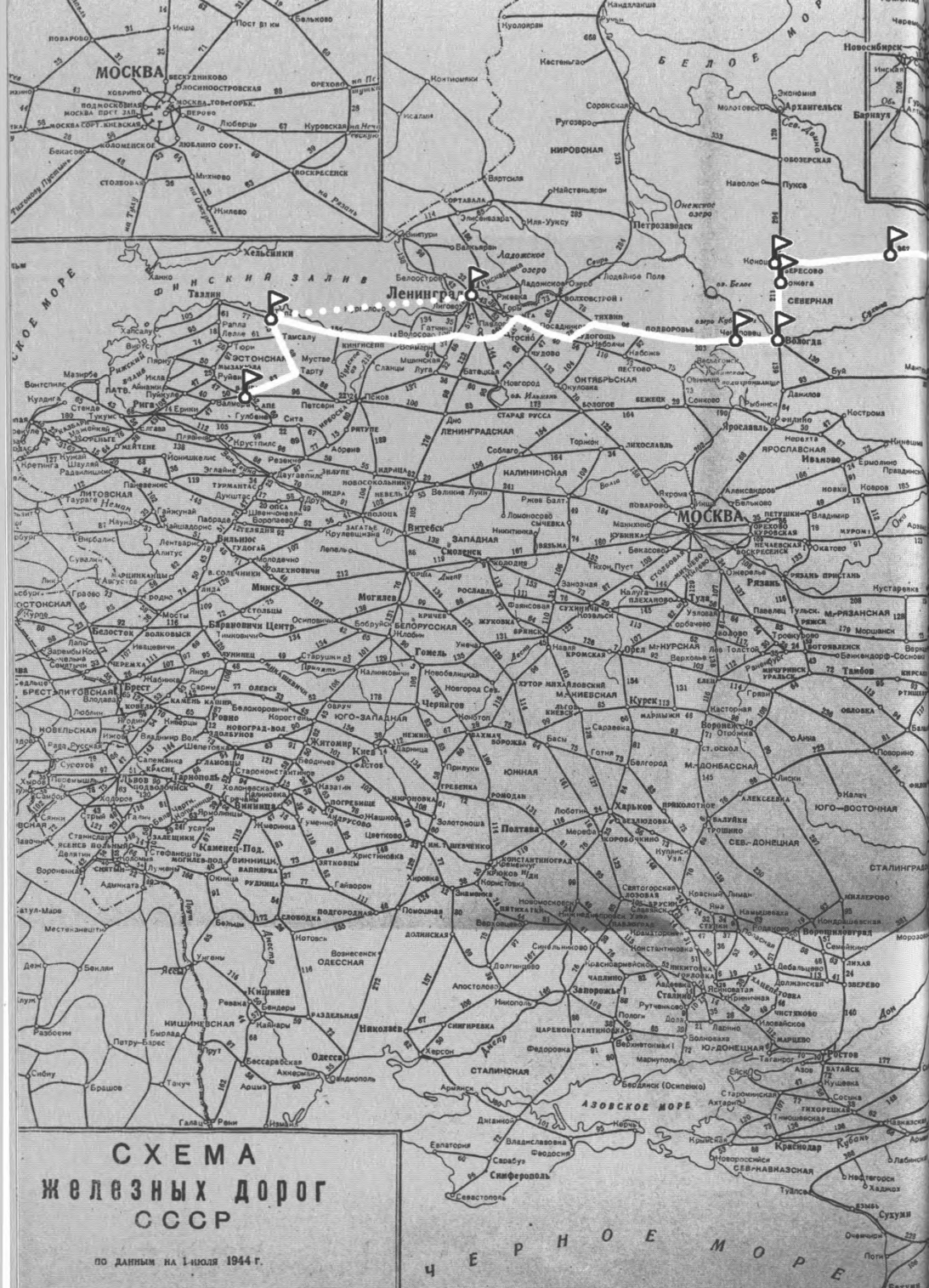


# Приложение

## ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭСЭСЭРИИ



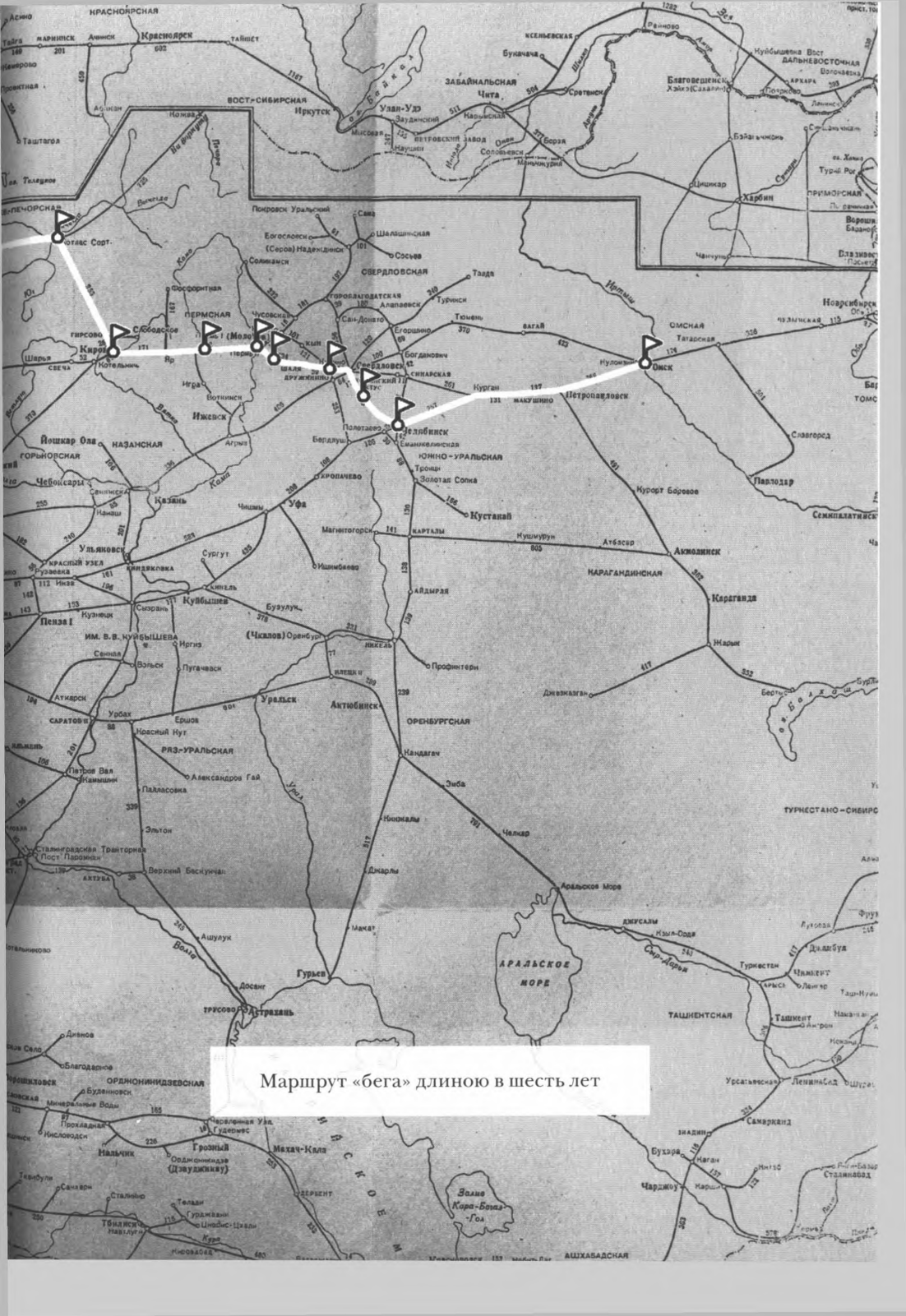
Степаныч  
*Детприёмник НКВД, посёлок Чернолучи. 1945*



# СХЕМА железных дорог СССР

по данным на 1 июля 1944 г.

ЧЕРНОЕ МОРЕ



Маршрут «бега» длиною в шесть лет





Начало войны. Ленинград



За едой



Железнодорожная водокачка



Пути-дороги



Очередь за пайкой



Сортировочная станция



На перроне



*М. ИНЮШКИН*

## ОТ КРАЯ ДО КРАЯ...

От края до края, по горным вершинам,  
Где вольный орел совершает полет,  
О Сталине мудром, родном и любимом  
Прекрасную песню слагает народ.

Летит эта песня быстрее, чем птица,  
И мир угнетателей злобно дрожит:  
Ее не удержат посты и границы,  
Ее не удержат ничьи рубежи.

Ее не страшат ни нагайка, ни пули,  
Звучит эта песня в огне баррикад,  
Поют эту песню и рикша и кули,  
Поет эту песню китайский солдат.

И песню о нем поднимая, как знамя,  
Единого фронта шагают ряды.  
Горит-разгорается грозное пламя,  
Народы встают для последней борьбы.

А мы эту песню поем горделиво  
И славим величие сталинских лет, —  
О жизни поем мы прекрасной, счастливой,  
О радости наших великих побед.

От края до края, по горным вершинам,  
Где свой разговор самолеты ведут,  
О Сталине мудром, родном и любимом  
Прекрасную песню народы поют.





Старший стрелочник





«Наш паровоз, вперёд лети...»



ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ


**Н**а просторах Родины чудесной,  
Закаляясь в битвах и труде,  
Мы сложили радостную песню  
О великом друге и вожде.

Сталин — наша слава боевая,  
Сталин — нашей юности полёт.  
С песнями, борясь и побеждая,  
Наш народ за Сталиным идёт.

Солнечным и самым светлым краем  
Стала вся Советская земля.  
Сталинским обильным урожаем  
Ширятся колхозные поля.

Сталин — наша слава боевая,  
Сталин — нашей юности полёт.  
С песнями, борясь и побеждая,  
Наш народ за Сталиным идёт.

Краше зорь весеннего рассвета  
Юности счастливая пора.  
Сталинской улыбкою согрета,  
Радуетс я наша детвора.



Сталин — наша слава боевая,  
Сталин — нашей юности полёт.  
С песнями, борясь и побеждая,  
Наш народ за Сталиным идёт.

Нам даны сверкающие крылья,  
Смелость нам великая дана.  
Песнями любви и изобилья  
Славится Советская страна.

Сталин — наша слава боевая,  
Сталин — нашей юности полёт.  
С песнями, борясь и побеждая,  
Наш народ за Сталиным идёт.

*А. Сурков*





На собрании



Имена и фамилии даны детям Детдомом.

Валд

Кмад  
Овст.

Миша  
Игорь

Эмма  
Вера

Гога  
Анда

Миша

### Детдомовцы-колупашки



### Отъезд

## Песня дружбы

1.

Гудят над Москвой самолеты с утра  
И знамя шумит над отрядом.  
На Красную площадь идет детвора  
Веселым весенним парадом.  
Смелей, самолет, набирай высоту,  
Столица, звени Первомаем;  
За дружбу, за Май, }  
Полет и мечту } *2 раза*  
Мы песню свою поднимаем.

2.

В далекой Испании пули поют,  
Пронесются танков колонны.  
С отцовской винтовкой в походном строю  
Идет пионер Барселоны.  
Расти, наша дружба, и крепни в грозе,  
Отвага, звени Первомаем;  
За дружбу, за жизнь, }  
Испанских друзей } *2 раза*  
Мы песню свою поднимаем.

3.

Японские коршуны в небе парят,  
Тяжелые бомбы метал.  
Идет пионер в партизанский отряд  
Сражаться за счастье Китая.  
Отважное племя, в борьбе подрастай,  
Победа, звени Первомаем;  
За дружбу, за жизнь, }  
Свободный Китай } *2 раза*  
Мы песню свою поднимаем.

4.

Растет пионерская наша семья  
Для светлой и радостной жизни.  
Ряды боевые равняют друзья  
По нашей Советской отчизне.  
От южных морей до полярных широт,  
Отчизна, звени Первомаем;  
За дружбу, за честь, }  
Советский народ } *2 раза*  
Мы песню свою поднимаем.

М. 19409 г.



На узловой станции



Эвакуация





Перроны-вокзалы

**Песня советских школьников**

Сегодня мы с песней веселой  
Под знаменем красным войдем  
В просторную новую школу,  
В наш светлый и радостный дом.  
Мы — дети заводов и пашен,  
И наша дорога ясна.

За детство счастливое наше  
Спасибо, родная страна!

У карт и у досок мы встанем,  
Вбежим мы в сверкающий зал.  
Мы учимся так, чтобы Сталин  
„Отлично, ребята!“ сказал.  
Мы — дети заводов и пашен,  
И наша дорога ясна.

За детство счастливое наше  
Спасибо, родная страна!

Узнаем мы дальние страны,  
Изучим строенье земли.  
И вырастем мы, капитаны,  
В моря поведем корабли.  
И встретим мы бурю и скажем:  
Ну что же! Дорога ясна.

За детство счастливое наше  
Спасибо, родная страна!

Нам будут герои примером.  
Отважными стать мы хотим.

Мы вырастем и в стратосферу —  
С улыбкой спокойной взлетим.  
Взлетев, оглядимся и скажем:  
Ну что же! Дорога ясна.

За детство счастливое наше  
Спасибо, родная страна!

Мы наше октябрьское знамя  
Сорвать не позволим врагам.  
Мы вырастем большевиками,  
Готовыми к новым боям.  
И выйдем на смену и скажем:  
Ну что же! Дорога ясна.

За детство счастливое наше  
Спасибо, родная страна!



Химзащита



Портрет кормчего. Челябинск



На путях



Пришёл поезд



Загрузка в теплушки



Домой с победой



Молотов-Пермь





На пароме



Уральская провинция

## Бескрайние дали

1. Алтайские нивы зерном налилися,  
Кубань нас зовёт,—наступает страда!  
Мы время ускорим, мы дали приблизим—  
И с хлебом доставим мы в срок поезда.  
*Припев:* Родные просторы, бескрайние дали,  
Состав за составом и ночью и днём...  
И смотрит с отеческой ласкою Сталин } *в раса*  
На верных помощников в деле своём.
2. Где сопки вздымают туманные выси,—  
И там он гудит, паровозный гудок.  
Мы время ускорим, мы дали приблизим—  
И грузы доставим стронтелям в срок.  
*Припев.*
3. Советские люди, что в путь собралися,  
Счастливой дороги—на отдых и труд!  
Мы время ускорим, мы дали приблизим—  
Испытан наш график, проверен маршрут.  
*Припев.*
4. Одна мы семья—машинист и диспетчер,  
Обходчик и сцепщик—герои труда.  
Давайте ж работать упорней и крепче,  
Чтоб в первых шеренгах мы были всегда!  
*Припев.*
5. Близки наши цели. Кругом оглянися,—  
Повсюду увидишь наш подвиг и труд.  
Мы время ускорим, мы дали приблизим,—  
Стальные пути к коммунизму ведут!  
*Припев:* Родные просторы, бескрайние дали,  
Состав за составом и ночью и днём...  
И смотрит с отеческой ласкою Сталин } *в раса*  
На верных помощников в деле своём.

## МОСКВА — ПЕКИН

Русский с китайцем братья навек,  
Крепнет единство народов и рас.  
Плечи расправил простой человек,  
С песней шагает простой человек,  
Сталин и Мао слушают нас!

Слушают нас!

Слушают нас!

П р и п е в:

Москва — Пекин!

Москва — Пекин!

Идут, идут вперед народы.

За светлый труд,

За прочный мир

Под знаменем свободы. } 2 раза

Слышен на Волге голос Янцзы,  
Видят китайцы сиянье Кремля.  
Мы не боимся военной грозы,  
Воля народов сильнее грозы,  
Нашу победу славит земля!  
Славит земля!  
Славит земля!

П р и п е в.

В мире прочнее не было уз.  
В наших колоннах — ликующий май.  
Это шагает Советский Союз,  
Это могучий Советский Союз,  
Рядом шагает новый Китай!  
Новый Китай!  
Новый Китай!

\* \* \*



XXX лет Октября. Концерт в Большом театре



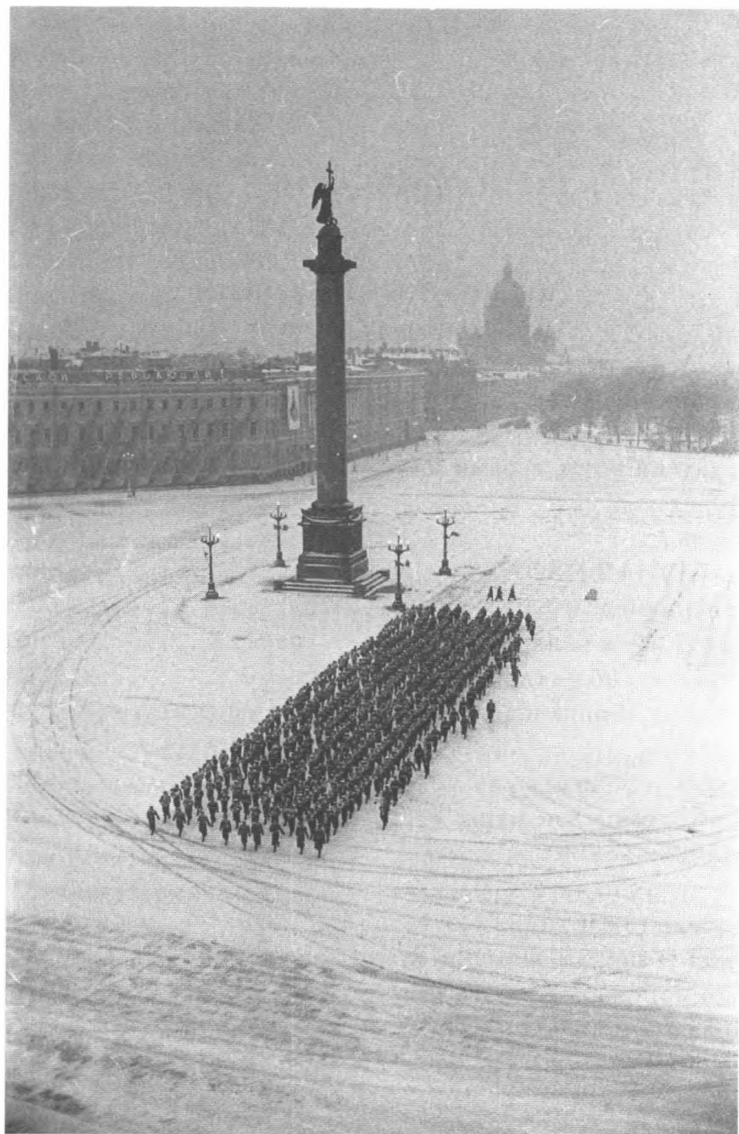
Школа имени М. С. Урицкого в Москве



Ленинград. Площадь Урицкого



Балтийский вокзал



Александрйский столп

# СОДЕРЖАНИЕ

## КРЕЩЁННЫЕ КРЕСТАМИ

*Записки на коленках*

*Предисловие* ..... 5

О матка Броня, возьми меня в шпионы ..... 11

### *Часть 1*

#### КОЗЯВНАЯ ПАЛАТА

Казённый дом ..... 21

Про Жабу и челядь ..... 25

Отдельно об очкарике ..... 29

Тёточка Машка и дядька Фемис ..... 30

О бане ..... 33

О себе и об игрушках ..... 34

Детприёмовские игры ..... 39

Про тараканов ..... 42

Козявная палата ..... 44

Победная картина ..... 48

Что мы хавали, шамали, хряпали ..... 52

Про мороженое и бога зимы ептона ..... 54

Праздничная чёлка ..... 57

Подарок Берии ..... 60

### *Часть 2*

#### ПРОВОЛОЧНЫЕ ВОЖДИ

Побег ..... 67

Картинки памяти ..... 69

Матерь Божья...	73
Первая пайка	74
Побег от черномалинника	75
Наследство скачка	78
Мой кент Митяй	79
Нелюдь	84
Летучие мыши	87
Положено – не положено	89
Лесные волки	92
Казахи	100
Дети артиллеристов	103
Легавка	108
Челябинский ДП	109
Ученье – свет, неученье – тьма	112
Начальница школы	115
Амбарная книга	117
Немецкие инородцы	117
Смерть Митяя	120

### *Часть 3*

#### **КРЕЩЁННЫЕ КРЕСТАМИ**

Снова бег	125
Государственный товар	129
Китаец	130
Молотов-Пермь	136
Тылыч и Пермохрюй	139
Текущие флаги	142
Имя её Мария	144
Японамать	147
Не солоно хлебавши	153
Школа скачка-поездушника	156
Условия работы	158
Работа	160
На север	162
Лампий	167
Параскева	168



«Пейте пиво, вытирайте рыло...» .....	172
Пьянская столица .....	178
Евдокия Шангальская .....	185
«Постой, паровоз, не стучите, колёса...» .....	188
Вологодские поездушники .....	190
Приёмный дом хорового пения .....	195
Череповецкие мытарства .....	200
Путешествие на снарядах .....	202
Старая Тыдруку .....	204
Колонтай .....	207

Площадь Урицкого .....	217
------------------------	-----

*Приложение*

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭСЭСЭРИИ .....	233
-------------------------------	-----

Эдуард КОЧЕРГИН  
КРЕЩЁННЫЕ КРЕСТАМИ

*записки на коленках*

Над книгой работали:

*Роберт Беспалов, Сергей Борин, Алла Борина,  
Игорь Булатовский, Наталья Введенская, Денис Гараймович,  
Наталья Дельгадо, Алексей Дмитренко, Вадим Зартайский,  
Алексей Захаренков, Лев Коннов, Дмитрий Краснов,  
Андрей Лурье, Наталия Малькова, Наталья Мартынова,  
Любовь Осокина, Сергей Плаксин, Ирина Стома*

Корректоры

*Павел Матвеев, Елена Шнитникова*

Вёрстка

*Марины Захаренковой*

Подписано в печать 22.09.2009  
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 17,57. Тираж 5000  
Гарнитура NewBaskervilleC  
Печать офсетная. Бумага офсетная

ООО «ВИТА НОВА»

198099, Санкт-Петербург, а/я 114  
Тел./факс: +7 (812) 747-26-35,  
тел.: (812) 747-26-41, (812) 785-28-71 (редакция),  
(495) 774-55-95 (представительство в Москве)  
Эл. почта: [spb@vitanova.ru](mailto:spb@vitanova.ru)  
Сайт: [www.vitanova.ru](http://www.vitanova.ru)

Наши книги можно приобрести  
в интернет-магазинах:

[www.ozon.ru](http://www.ozon.ru), [www.book1.ru](http://www.book1.ru)  
[www.sputnik2000.com](http://www.sputnik2000.com) (Германия)  
[www.petropol.com](http://www.petropol.com) (США и Канада)  
[www.bestbook.com.ua](http://www.bestbook.com.ua) (Украина)

Отпечатано в типографии «WS Bookwell OY»  
Finland, Porvoo

ISBN 978-5-93898-263-5



9 785938 982635

УДК 882  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
К755

Ответственный редактор  
*Сергей Князев*  
Художественный редактор  
*Марина Захаренкова*

В оформлении обложки использован фрагмент работы  
*Бориса Заборова «Триптих», 1987*

В книге использованы материалы Центрального государственного  
архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга,  
а также из личного архива *В. А. Никитина*

В книге опубликованы фотографии  
*Э. Евзерихина, В. Капустина, Г. Коновалова, К. Туричева, Р. Мазелева,  
В. Никитина, М. Савина, Б. Уткина, В. Федосеева, П. Федотова*

Издательство выражает глубокую признательность  
за помощь в работе над книгой *Н. Л. Елисееву, И. М. Курдиной,  
Б. А. Сапожникову, Н. Е. Соколовской*

**Кочергин Э. С.**

**К755** Крещённые крестами: Записки на коленках. — СПб.:  
Вита Нова, 2009. — 272 с., 51 ил.

ISBN 978-5-93898-263-5

Новая книга Э. С. Кочергина основана на воспоминаниях о тяжёлых послевоенных временах, когда он бежал из омского детприёмника для детей «врагов народа» на родину в Ленинград, — о беге, длившемся более шести лет, со всеми перипетиями и скитаниями по «эсэсэрии» с ее тогдашними казёнными домами, детприёмниками НКВД и колониями. В приложении приведены карты, тексты песен и фотодокументы 1940–1950-х годов.

Предыдущая книга Э. С. Кочергина «Ангелова кукла» стала заметным событием в культурной жизни России, переведена на несколько европейских языков и стала основой спектакля на сцене Государственного академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.

**ББК 84(2Рос=Рус)6**

Любое воспроизведение настоящей книги или отдельной ее части  
возможно только с письменного разрешения ООО «Вита Нова».

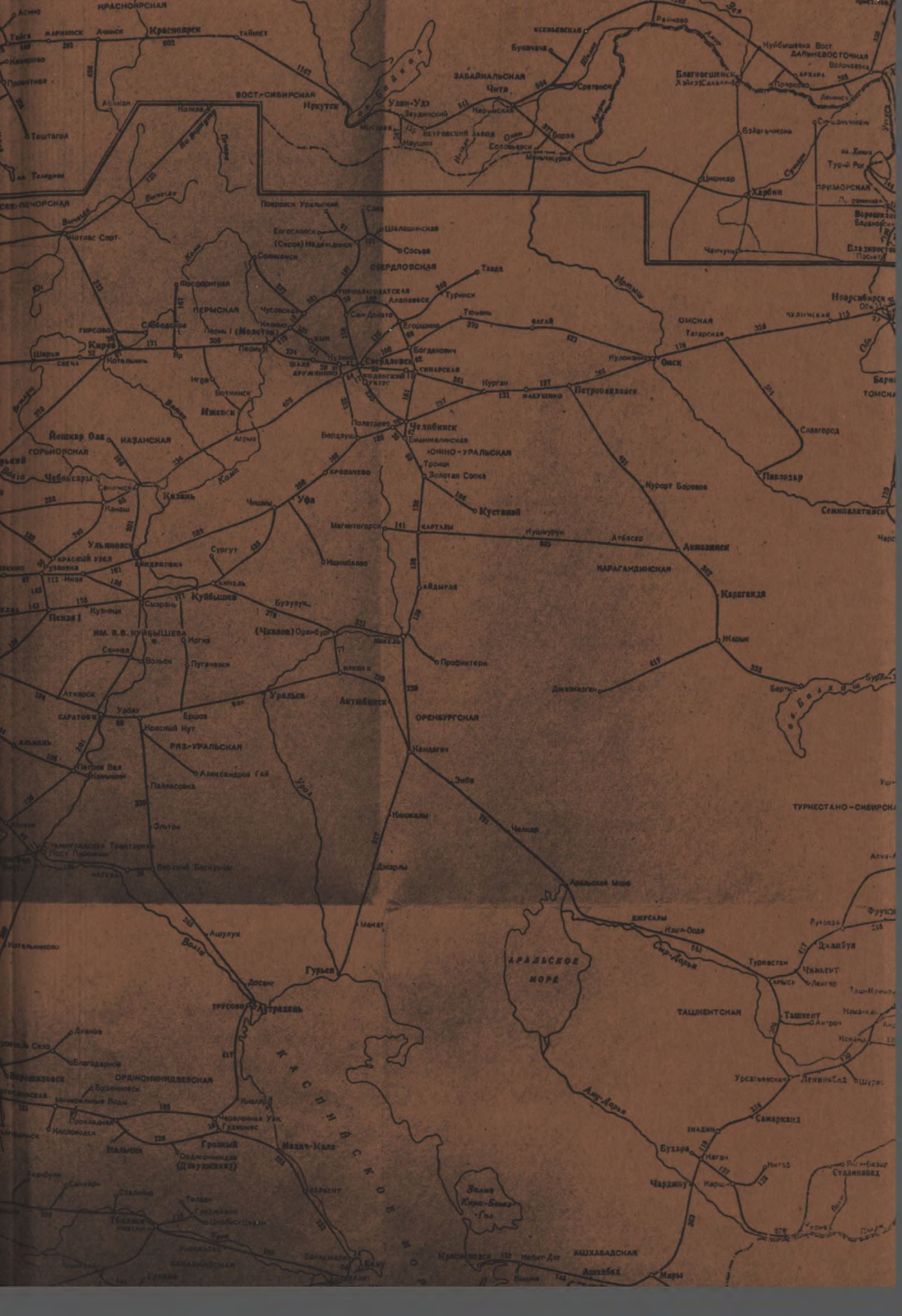


**СХЕМА  
железных дорог  
СССР**

по данным на 1-ноябрь 1944 г.

Цены ввозимых тарифов, рассчитаны заклад пунктами

ЧЕРНОЕ МОРЕ



ЛАВОНА  
ГРОМНОГО  
ДА СНИМА  
И В КАЛЕНДА



СЛА  
ТИН СЫ  
РОС  
СЛЕС